



М. _____
ВЕЛЛЕР



КОНЬ
НА ОДИН ПЕРЕГОН

Михаил Иосифович Веллер

Конь на один перегон (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3945265

Веллер М. Конь на один перегон: Астрель; Москва; 2012

ISBN 978-5-271-44613-9

Аннотация

Уже первые оригинальные и потрясающе смешные рассказы М.Веллера, дебютировавшего в семидесятые годы, вызвали восторг читателей. В предлагаемую читателям книгу «Конь на один перегон» включены произведения разных лет.

Содержание

Разные судьбы	5
Сопутствующие условия	5
Мимоходом	9
Идиллия	13
Апельсины	15
Паук	19
В ролях	21
Думы	24
Поправки к задачам	29
Разные судьбы	34
Легионер	39
Святой из десанта	42
Не думаю о ней	45
Котлетка	50
Эхо	57
Нас горю не состарить	63
Карьера в никуда	74
Колечко	74
1	74
2	75
3	76
4	79
5	83

6

86

7

90

8

102

Конец ознакомительного фрагмента.

103

Михаил Веллер

Конь на один перегон

Разные судьбы

Сопутствующие условия

Его должны были расстрелять на рассвете.

На рассвете – это крупное везение. Еще есть время.

Он лежал ничком в совершенной темноте. Вероятно, ногами к двери – швырнули.

Спина была изодрана в мясо и присыпана рыбацкой солью. Боль вывела его из забытья. Боль была союзником.

Связанные сзади руки немели.

Он перекатился на спину, и боль перерубила сознание. Он смолчал и пришел в себя. Он просто забыл: нога. Левая нога попала под коня. Под ним убило коня.

Он уперся правой пяткой в земляной пол и проелозил плечами... Оттолкнулся еще раз и совладел с дыханием. Подтянул ногу, закинул голову, опершись макушкой приподнял плечи и передвинул себя.

После десятого раза он стал переворачиваться на живот. Сердце грохало в глотке.

Извивался, царапая коленом, правой стороной груди, головой — полз.

Часовой — вздохнул, выматерился, зачиркал металлом по кремушку, добывая прикурить, близко, но снаружи, где дверь, в стороне ног.

Он определил стену сарая. Переместил себя вдоль нее. На правом боку, прижимаясь, продвигался. Острие гвоздя корябнуло лоб.

Нашел.

Гвоздь торчал на полвершка. Он долго пристраивался к нему стянутыми запястьями. При всяком движении черная трещина в сознании расширялась, и боль увлекала туда.

Не чувствуя руками, на звук, он дергал веревкой о кончик гвоздя. Приноровясь, пытался расщипывать волокна в одном месте.

Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; очень большая удача.

Пряди поддевались чаще толстые. Он отпускал напрягшиеся нити, стараясь определить одну, и рвал ее...

...Очнувшись, он продолжал. И последняя прядка лопнула, но это был лишь один виток, и веревка не ослабла.

Теперь он приспособился, пошло быстрее... Ему удалось расковырять, разлохматить веревку о гвоздь, и она поддавалась легче.

...Он не мог сказать прошедшего времени, когда освободил руки. Он кусал взбухшие кисти, слизывая кровь с зубов,

и руки ожили.

Под стену натекала вода. Он напился из лужицы. Часть воды оставил, провертев пальцем в дне лужи несколько ямок поближе к стене.

На четвереньках, подтягивая ногу, он обшарил сарай. Ни железки, ни щепки... Пригнанные доски прочны.

Железный костыль сидел в столбе мертво. Сжав челюсти, он раскачивал его, выкрашивая зубы.

Костылем он стал рыхлить землю с той стороны, под стеной, где натекала вода. Он рыхлил увлажняющуюся землю костылем и выгребал руками. Руку уже можно было высушить по плечо, когда в деревне закричали петухи. Ему оставался час до рассвета. С дождем – полтора часа.

Часовой – не шагал под дождь, но без сна, дымок махорки чуялся.

В темноте, сдирая запекшиеся струпья со спины, он вылез в мокрый бурьян. Умеряя движения, каждую травинку перед собой проверяя беззвучно, пополз направо к реке.

С глинистой кручи головой вперед, тормозя скольжение вытянутыми руками, пальцами правой ноги и подбородком, он достиг берега.

Лодок не было.

Ни одной.

Он двигался на четвереньках вдоль воды. Дождь перестал, и линия обрыва выступила различимо.

Обломок бревна он заметил сажени за три. Подкатил его,

спустился без всплеска в сентябрьскую воду.

Лежа на калабахе грудью, обхватив ее левой рукой, оттолкнулся от дна, тихо-тихо загребая правой к середине.

Ниже по течению верстах в полутора на том берегу был лес.

И поэтому так называемые трудности мне непонятны.

И знакомые называют меня идеалистом, наивным оптимистом и юнцом, не знающим жизни.

Человек этот, боец 6-го эскадрона 72-го красного кавполка, был мой прадед.

Фотографию его, дореволюционную овальную сепию, я спер из теткиного альбома и держу у себя на столе. Те, кто видят ее впервые, не удерживаются, чтобы не отметить сходство и поинтересоваться, кем этот человек мне приходится. Что составляет тайный (и не совсем тайный, если откровенно) предмет некоторой моей гордости. На фотографии ему двадцать один – на три больше, чем мне сейчас. Намного старше он не стал – погиб в двадцатом.

Мимоходом

– Здравствуй, – не сразу сказал он.

– Мы не виделись тысячу лет, – она улыбнулась. – Здравствуй.

– Как дела?

– Ничего. А ты?

– Нормально. Да...

Люди проходили по длинному коридору, смотрели.

– Ты торопишься?

Она взглянула на его часы:

– У тебя есть сигареты?

– А тебе можно?

Махнула рукой:

– Можно.

Они отошли к окну. Закурили.

– Хочешь кофе? – спросил он.

– Нет.

Стряхивали пепел за батарею.

– Так кто у тебя? – спросил он.

– Девочка.

– Сколько?

– Четыре месяца.

– Как звать?

– Ольга. Ольга Александровна.

– Вот так вот... Послушай, может быть ты все-таки хочешь кофе?

– Нет, – она вздохнула. – Не хочу.

На ней была белая вязаная шапочка.

– А рыжая ты была лучше.

Она пожала плечами:

– А мужу больше нравится так.

Он отвернулся. Заснеженный двор и низкое зимнее солнце над крышами.

– Сашка мой так хотел сына, – сказала она. – Он был в экспедиции, когда Оленька родилась, так даже на телеграмму мне не ответил.

– Ну, есть еще время.

– Нет уж, хватит пока.

По коридору, впусив поднятый хвост, гуляла беременная кошка.

– Ты бы отказался от аспирантуры?

– На что мне она?..

– Я думала, мой Сашка один такой дурак.

– Я второй, – сказал он. – Или первый?

– Он обогатитель... Он хочет ехать в Мирный. А я хочу жить в Ленинграде.

– Что ж. Выходи замуж за меня.

– Тоже идея, – сказала она. – Только ведь ты все будешь пропивать.

– Ну что ты. Было бы кому нести. А мне некому нести. А

если б было кому нести, я бы и принес.

– Ты-то?

– Конечно.

– Пойдем на площадку, – она взяла его за руку...

На лестничной площадке сели в ободранные кресла у перил.

– А с тобой, наверно, было бы легко, – улыбнулась она. – Мой Сашка точно так же: есть деньги – спустит, нет – выкрутится. И всегда веселый.

– Вот и дивно.

– Жениться тебе нужно.

– На ком?

– Ну! найдешь.

– Я бреюсь на ощупь, а то смотреть противно.

– Не напрашивайся на комплименты.

– Да серьезно.

– Брось.

– А за что ей, бедной, такую жизнь со мной.

– Это дело другое.

– Бродяга я, понимаешь?

– Это точно, – сказала она.

Зажглось электричество.

– Ты гони меня, – попросила она.

– Сейчас.

– Верно; мне пора.

– Посиди.

– Я не могу больше.

– Когда еще будет следующий раз.

– Я не могу больше!

Одетые люди спускались мимо по лестнице.

– Дай тогда две копейки – позвонить, – она смотрела перед собой.

– Ну конечно, – он достал кошелек. – Держи.

Идиллия

Ветер нес по пляжу песок. Они долго искали укрытое место, и чтоб солнце падало правильно. Лучшие места были все заняты.

У поросшей травой дюны женщина постелила махровую простыню.

– Хорошо быть аристократом, – сказал мужчина, и женщина улыбнулась.

– Я пойду поброжу немножко, – сказала она...

– Холодно на ветру.

– Ты подожди меня. Я недолго.

– Хм, – он согласился.

Он смотрел, как она идет к берегу в своем оранжевом купальнике, потом лег на простыню и закрыл глаза.

Она пришла минут через сорок и тихо опустилась рядом.

– Ты меня искал?

Он играл с муравьем, загораживая ему путь травинкой.

– Конечно. Но не нашел и вот только вернулся.

Муравей ушел.

– Не отирая влажных глаз, с маленьким играю крабом, – сказала женщина.

– Что?

– Это Такубоку.

Мальчишки, пыля, играли в футбол.

– Хочешь есть? – она достала из замшевой сумки-торбы хлеб, колбасу, помидоры и три бутылки пива.

Он закурил после еды. Деревья шумели.

– Я, кажется, сгорела. Пошли купаться.

Он поднялся.

– Если не хочешь – не надо, – сказала она.

– Пошли.

Зайдя на шаг в воду, она побежала вдоль берега. Она бежала, смеясь и оглядываясь.

– Догоняй! – крикнула она.

Он затрусил следом.

Вода была холодная. Женщина плавала плохо.

Они вернулись быстро. Он лег и смотрел, как она вытирает свое тело.

Она легла рядом и поцеловала его.

– Это тебе за хорошее поведение, – дала из своей сумочки апельсин.

Апельсины

Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением – порой тайным, бессознательным даже, – жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой – если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и никчемно стынет корабль в бескрайних волнах.

Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами – которых еще нет, – и здоровьем – которое еще есть, – способна создать шедевры.

Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками шлепались на листы. Глубины мира яснили; ошеломительные, сверкали сокровища на острие его мысли.

Сведущий в тайнах, он не замечал явного...

Реальность отковыывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел.

Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии.

Неотвратимо – он близился к ней. ОНА – стала для него – все: любовь, избавление, жизнь, истина.

Жаждающе взбухли его губы на иссушенном лице. Опущенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали.

Он вышел под вечер.

Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи.

На самом высоком здании было написано: «Театр комедии».

Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного постамента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры.

– Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, – сказал ему старичок.

– Кровь победителей рвет ваши жилы! – закричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались.

Чугунные кони дыбились вечно над взрябленной мутью и рвали удила.

Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила.

Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова,

бывшим Аничковым.

На углу продавали белые пачки сигарет – и красные гвоздики.

У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку.

Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстуке, и удалился, загадочно улыбаясь.

Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек.

Колдовски прекрасная девушка умоляла о чем-то мятого верзилу; верзила жевал резинку.

Он перешел на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его.

Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку.

Дороги он не знал. Ему подсказали.

В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сидении; модные дорогие часы блестели на руке.

На улице Некрасова сел милиционер, такой молоденький и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина.

Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каме-

нел Дворец бракосочетаний.

Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебозавод стоял за углом) перебивал дыхание взбухших почек.

«Весна...», – подумал он.

Ее не оказалось дома.

Никто не отворил дверь.

Он ждал.

Темнело.

Серым закрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчезая в пелене.

Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды.

Паук

Беззаботность.

Он был обречен: мальчик заметил его.

С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.

Мальчик взял спички.

Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.

Удар мощного жала — он вскочил и понесся.

Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.

Он метался, спасаясь.

Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.

Противный.

Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.

Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом; он срывался.

Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.

Яркий шар вздулся и прыгнул снова.

Ухода нет.

В угрожающей позе он изготовился драться.

Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.

И когда враг надвинулся вновь, он прынул вперед и ударил.

Враг исчез.

Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.

Ты смотри...

Он бросался еще, и враг не мог приблизиться.

Два сразу: один спереди пытался от ударов – второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.

Коробок опустел.

Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.

Он выставил уцелевший коготь к бою.

Стена огня.

Мир горел и сжимался.

Жало врезалось в мозг и выело его. Жизнь кончилась. Обугленные шпатель лап еще двигались: он дрался.

...Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щечками он взял пепельный катышок и выбросил на клумбу.

Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинки, взрослея.

Его трясло.

Он чувствовал себя ничтожеством.

В ролях

В ресторане пусто – четыре часа дня.

Посетитель у окна заказывает официантке. Оба – лет двадцати. Он провожает ее взглядом: хорошая фигура.

Официантка приносит водку, яичницу и сигареты.

– Меня зовут Саша. А вас?

– Зачем?

Официантка приносит шашлык.

– Выпейте со мной, – говорит Саша.

– Нам нельзя.

– Одну рюмку. Выпей, ей-богу...

– Спасибо; нам нельзя.

(Ей и без него доуки хватает. Ее мальчик ушел вчера. Она не спала. Плохо спала. Она переживает. Она покинула любимым. Флиртовать нельзя. А этот – ничего. Поэтому она раздражается. «Мне и без тебя доуки хватает», – думает она.)

Посетитель ест, пьет, курит; движения медленные. Выражение заторможенное.

– С вас пять девяносто две.

Дает восемь без сдачи. Она благодарит.

– А вот теперь, – говорит он тихим ломким голосом и начинает бледнеть, – теперь я должен идти к родителям моего друга и сказать им, что он утонул.

Пауза.

– Как...

– Вот так. Пять суток назад. В Бискайском заливе. Я сегодня из рейса.

Пауза.

– Вы долго дружили?..

Пауза.

– Росли вместе. Мореходку кончали. Это второй рейс. Смыло. У него была невеста.

– О господи... – вздыхает наконец официантка и, постояв, отходит.

Посетитель сидит бледный, докуривает.

(Вслед ей не смотрит. Он в предстоящем. Хотя родители извещены. И невеста – натяжка. Но он готов исполнить трудную мужскую обязанность. Горькое и высокое чувство. Он мужчина. У него погиб друг. Он возвышается своим чувством.)

И идет к гардеробу походкой сомнамбулы. Руку с номерком подает в направлении гардеробщика отсутствуя. Отпускает рубль.

Официантка, сидя на подоконнике, что-то тихо говорит другой, показывая на него глазами. Глаза блестят. Боковым зрением он принимает это с неким удовлетворением.

Выходит нечетко.

Улица – ничьего внимания он не привлекает. В полумгле на асфальтовой площади проступают серебром фонарные

столбы. Сейчас состояние его близко опьянению.

Но ветер холодный, и он трезвеет, пока доходит до знакомого подъезда.

Думы

Подумать хотелось.

Мысль эта – подумать – всплыла осенью, после дня рождения.

Женился Иванов после армии. За восемнадцать лет вырос до пятого разряда. А в этом году в армию пошел его сын. А дочка перешла в седьмой класс.

Какая жизнь? – обычная жизнь. Семья-работа. То-сё, круговерть. Вечером поклоуешь носом в телик – и голову до подушки донести: будильник на шесть.

Дача тоже. Думали – отдых, природа, а вышла барщина. Будка о шести сотках – и вычеркивай выходные.

Весь год отпуска ждешь. А он – спица в той же колеснице: жена-дети, сборы-споры, билеты, очереди, покупки... – уж на работу бы: там спокойней; привычней.

Ну, бухнешь. А все разговоры – об этом же. Или про баб врут.

Хоп – и сороковник.

Как же все так... быстро, да не в том даже дело... бездумно?..

И всплыла эта вечная неудовлетворенность, оформилась: подумать спокойно об всем – вот чего ему не хватало все эти годы. Спокойно подумать.

Давно хотелось. Некогда просто остановиться было на

этой мысли. А теперь остановился. Зациклился даже.

– Свет, ты о жизни хоть думала за все эти годы? – спросил он. Жена обиделась.

Мысль прорастала конкретными очертаниями.

Лето. Обрыв над рекой. Раскидистое дерево. Сквозь кро-
ну – облака в небе. Покой. Лежать и тихо думать обо всем...

Отрешиться. Он нашел слово – отрешиться.

Зимой мысль оформилась в план.

– Охренел – в июле тебе отпуск?! – Мастер крыл гул формовки. – Прошлый год летом гулял! – Иванов швырнул рукавицы, высморкал цемент и пошагал к начальнику смены. После цехкома дошел до замдиректора. Писал заявления об уходе. Качал права, кланчил и носил справки из поликлиники.

– Исхудал-то... – Жена заботливо подкладывала в тарелку.

Потом (вырвал отпуск) жена плакала. Не верила. Вызвала у друзей, не завел ли он связь: с кем едет? Они ссорились. Он страдал.

Страдал и мечтал.

Дочка решила, что они разводятся, и тоже выступила. Показала характер. Завал.

Жена стукнула условие: путевку дочке в пионерский лагерь. Он стыдливо сновал с цветами и комплиментами к ведьмам в профком. Повезло: выложил одной кафелем ванную, бесплатно. Принес – пропуск в рай.

В мае жена потребовала ремонт. Иванов клеил обои и мурлыкал: «Ван вэй тикет!» – «Билет в один конец». Еще и новую мойку приволок.

Счастье круглилось, как яблоко – еще нетронутое, нерас-
траченное в богатстве всех возможностей.

Просыпаясь, он отрывал листок календаря. Потом стал от-
рывать с вечера.

Вместо телевизора изучал теперь атлас. Жена прониклась:
советовала. Дочка читала из учебника географии.

Лето шло в зенит.

Когда осталась неделя, он посчитал: сто шестьдесят во-
семь часов.

Врубая вибратор, Иванов пел (благо грохот глушит). По
утрам он приплясывал в ванной.

Чемодан собирал три дня. Захватил старое одеяло – ле-
жать.

Прощание получилось праздничное. На вокзале оркестр
проводил студенческие отряды. Жена и дочка улыбались с
перрона.

Один, свободен, совсем, целый месяц – впервые за сорок
лет.

В вагон-ресторане он баловался вином и улыбался мель-
канию столбов. Поезд летел, но одновременно и полз.

У пыльного базарчика он расспросил колхозничков и за-
трясся в автобусе.

Кривая деревенька укрылась духовитой от жары зеленью.

Иванов подмигнул уткам в луже, переступил коровью лепешку и стукнул в калитку.

За комнату говорливый дедусь испросил двадцатку. Иванов принес продуктов и две бутылки. Выпили.

Оттягивал. Дурманился предвкушением.

Излучина реки желтела песчаной кручей. Иванов приценивался к лесу. Толкнуло: раскидистая сосна у края.

Завтра.

...Петухи прогорланили восход. Иванов сунул в сумку одеяло и еды. Выбрился. У колодца набрал воды в термос.

Кусты стряхивали росу. Позавтракал на берегу, подальше от мычания, переклички и тракторного треска. Воздух густел; припекало.

Приблизился к *своей* сосне. Он волновался. Расстелил одеяло меж корней. Лег в тени, так, чтоб видеть небо и берег. Закурил и закинул руку под голову.

И стал думать.

Облака. Речной плеск. Хвоинка покалывала.

Снова закурил. И растерянно прислушался к себе.

Не думалось.

Иванов напрягся. Как же... ведь столько всего было.

Вертелся поудобней на бугристой земле. Сел. Лег.

Ни одной мысли не было в голове.

Попробовал жизнь свою вспомнить. Ну и что. Нормально все.

Нормально.

– Вот ведь черт, а. – Иванов аж пот вытер оторопело. Ведь так замечательно все. И – нехорошо...

Никак не думалось. Ни о чем.

И хоть бы тоска какая пришла, печаль там о чем – так ведь и не чувствовалось ничего почему-то. Но ведь не чурбан же он, он и нервничал часто, и грустил, и задумывался. А тут – ну ничего.

Как же это так, а?

Еще помучался. Плюнул и двинул в магазин. Врезать.

Не думалось. Хоть ты тресни.

Поправки к задачам

Августовское солнце грело приятно. Листва уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водица пояснила на его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. «Забавно», – маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.

– Ну, как командуется? – спросил он.

– Трудно, товарищ маршал, – ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.

– Трудно... – повторил маршал. Третью веку назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош... – А иначе и не должно.

Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.

Генерал достал портсигар.

– Кури, – разрешил маршал. – «Казбек»? Правильно, – одобрил. – Садись, не стой. Это мне перед тобой теперь сто-

ять надо, — пошутил он и вздохнул.

Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.

— Волнуешься?

— Гм... Да как вам сказать, — затруднился генерал.

— Главное что, — приступил маршал и задумался... Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечто неприличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний... — Главное — тебе надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе — хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет — ясно?

— Ясно...

— Иначе — срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.

Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папиросой отдыхала на колене, обтянутом галифе.

Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, — томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.

— А... стиль руководства? — спросил генерал.

Маршал сказал:

— Над собой ты волю чувствуешь постоянно, — и под то-

бой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого – страху нагнать! чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером иногда надо быть!.. – он глянул и рассмеялся: – Эть, как я тебя учить стал, а?..

– Ничего, – рассмеялся и генерал. – Все верно!

– А в деталях? – спросил он.

– Да у тебя лично вроде так, – сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь с памятью. – Только, – покрутил пальцами...

– Общей достоверности не хватает?

– Вот-вот, – поморгал, подумал. – Ну, давай, – напутствовал. – Командуй! – и остался на своей скамеечке.

Поковырял палкой лесную землю, сухую, слоеную.

Растеснил воздух нежеванный механический звук мегафона:

– Всем по местам! Перерыв окончен!

На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.

Генерал подошел к режиссеру.

– Что Кутузов? – спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.

– Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, – сообщил генерал.

Режиссер крякнул, махнул рукой и наставил мегафон:

– Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!

Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расправляли провода; джинсовые киноадыютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жостью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; оператор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: «Внимание! Мотор!», пока щелчок хлопушки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.

Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.

Черная «Чайка» маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.

– Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, – любезность иссякала; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.

Недоказуемость истины бесила его.

Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта.

Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.

Генерал перегнулся с вышки:

– Ви-ид отсюда, – поделился он.

Тяготимый несчислимыми условиями, —

– Дубль! – назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с постигнутой им истиной.

«Дубль...» – хмыкнул маршал.

Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы отчетливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле заглатывая паленый воздух артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит на трясущихся рукоятях руки пулеметчиков, как сближает прицел вжатая в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИП-ТАПов.

Разные судьбы

Полковник сидел у окна и наблюдал ландшафт в разрывах облаков. Капитан подремывал под гул моторов.

Полковник почитал, решил кроссворд, написал письмо и достал коробку конфет:

– Угощайтесь.

Они были одного возраста: капитан стар, а полковник молод. Сукно формы разнилось качеством: полковник выглядел одетым лучше.

– Где служишь, капитан?

В дыре. Служба не пошла. Застрял на роте. Что так? Всякое... Солдатик в самоходе начудил. ЧП на учениях... Заклинило.

Полковник наставлял с командных высот состоявшейся судьбы. Недавно он принял дивизию – «пришел на лампы». В колодках значилось Красное Знамя.

– Афган. – Он кивнул.

Отвинтил бутылку. Приложились. Полковник живописал курсантские каверзы – счастливые годки:

– ...и проиграл ему шесть кирпичей – в мешке марш-бросок тащить. И – р-рухнул через километр. А старшина приказывает ему... ха-ха-ха! возьмите его вещмешок! Мы все попадали. И он сам пер... ох-ха! девять километров! Стал их вынимать, а старшина... ха-ха!

Капитан соблюдал веселье по субординации. Его училище было скучноватей; серьезнее. Наряды, экзамены:

– ...матчасть ему по четыре раза сдавали. И – без увольнений.

Полковник расправился с аэрофлотовским «обедом». Капитан ковырялся.

– ...приводит на танцы: знакомьтесь, говорит, – моя невеста. А он так посмотрел: э, говорит, невеста, – а хотите быть моей женой! А она – в глаза: а что? да! И – все! Потом майор Тутов, душа, ему месяц все объяснял отдельно – ничего не соображал.

– А у нас один развелся прямо в день выпуска – ехать с ним отказалась, – привел капитан.

Долго вспоминали всякое... Оба летели на юбилейную встречу.

– Сколько лет? И у меня пятнадцать. Ты какое кончал?

– Первое имени Щорса.

– Ка-ак?! – не поверил полковник. – Да ведь я – Первое Щорса.

Оба сильно удивились.

– А рота?

– Седьмая.

– Ну и дела! И я седьмая! А взвод?

– Семьсот тридцать четвертый.

– Т-ты что! точно? Я – семьсот тридцать четвертый! Стой... – полковник просиял: – как же я тебя сразу не узнал!

Шаскольский!

– Никак нет, товарищ полковник, я...

– Да кончай, однокашник: без званий и на ты... Луговкин!

– Да нет, я...

– Стой, не говори! Худолей?.. нет... Бочкарев!!

– Власов я, – извиняющийся представился капитан.

– Власов! Власов... Надо же, сколько лет... даже не припомню, понимаешь... А-а! это у тебя в лагерях танкисты шинель пристроили?

– У меня? шинель?..

– Ну а меня, меня-то помнишь теперь? Узнал?

– Теперь узнал. М-мм... Германчук.

– Смотри лучше! Синицын! Синицын я, Андрей! Ну? На винтполигоне всегда макеты поправлял – по столярке возиться нравилось.

– Извините... Гм. Вообще этим полигонная команда занимается.

– Ну – за встречу! Ах, хорошо. А как Худолей на штурмполосе выступал? в ров – в воду плюх, мокрый по песку ползком, под щитом застрял – и смотрит вверх жалобно: умора! А на фасад его двое втащили, он постоял-постоял на бревне – и ме-едленно стал падать... ха-ха-ха! на руки поймали: цирк! А стал отличный офицер.

– Отличник был такой – Худолей, – усомнился капитан. – Не... А помните, Нестеров, из студентов, в личное время повести писал?

– Нестеров? Повести? Это который гимнаст, что ли? Он еще щит гранатой проломил, помнишь?

– Щи-ит? Может, у меня тогда освобождение от полевой было... А помните, как Вара перед соревнованиями команду гонял?

– Кто?! Вара?! Да он через коня ласточкой – носом в дорожку летал. А майора Турбинского с ПХР помнишь?

– Турбинского?.. Не было такого майора. Вот майор Ростовцев – он нам шаг на плацу в три такта ставил, это точно.

– Какой Ростовцев, строевую Гвоздев вел! А майор Соломатин – стрелковую. А Бондарьков – разведку.

– Только не Соломатин, а Соломин. И он подполковник был. А вел тактику. Седоватый такой.

Оба уставились друг на друга подозрительно.

– Слушай, – задумчиво сказал полковник, – а ты где спал?

– У прохода, третья от стены. Под Иоаннисяном.

– Под Иоаннисяном Андреев спал, не свисти. Пианист.

– Какой пианист?! он и в строю-то петь не мог. А все время тратил на конспекты – лучшие в роте, по ним еще все готовились.

– Андреев, что я, не помню. А я спал у среднего окна.

– У среднего окна Германчук спал.

– Ну правильно. А я рядом.

– Рядом Богданов. Они двое сержанты были.

– Я! Я ефрейтор был.

– Ефрейтором Водопьянов был.

– А я кем был?! – завопил полковник. – А я где спал?!
Развелось вас! историки! Тебе только мемуары писать!..

Капитан виновато выпрямился в кресле.

– Ты скажи точно – ты в каком году кончал?..

Самолет пошел на посадку.

– А Гришу, замкомвзвода, пилотку всегда ушивал, чтобы углами стояла, помнишь?

– Никак нет, не помню. А старшего лейтенанта Бойцова помните?

– Какого Бойцова?!

Полковник был раздражен. Капитан растерян.

– Что же это за белиберда получается, – недоумевал полковник. – Ничего не понимаю...

В аэропорту он взял капитана в такси. Приехали к подъезду с вывеской бронзой по алому.

– Вот оно! – сказал полковник.

– Оно, – подтвердил капитан.

Легионер

Его родители эмигрировали во Францию перед первой мировой войной. В сороковом году, когда немцы вошли в Париж, ему было четырнадцать. Он был рослый и крепкий подросток.

Родители были взяты заложниками при облаве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле.

Он бежал в маки. Цель, смысл жизни – мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки: отчаяние и ненависть.

Всей мальчишеской страстью он предался оружию и войне. Он лез на рожон. В пятнадцать лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В сорок четвертом, когда партизаны вступили в Париж прежде авангардов генерала Леклерка, ему было восемнадцать лет и он командовал батальоном франтиреров.

Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина.

...Он записался в Иностранный легион. Вербовочный пункт отсекал слежку, прошлое исчезало, кончался закон: называл любое имя.

Он умел воевать, а больше ничего не умел: любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын. Взводным немец. Власовцы, итальянцы, усташи, четники, уголовники и нищие крестьяне.

На себе стоял крест: десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью: не сдавались – прикончат, не бежали – некуда, не отступали – пристрелят свои. Держались, сколько были живы и имели патроны.

Он узнал, что такое легионерская тоска – «кяфар». Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире (джунгли, пустыня), бессмысленность усилий, – безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и становилось основным ощущением жизни.

Разум и совесть закуклились. Отребье суперменов, «солдаты удачи», наемное зверье – они были вне всех законов. Жгли. Вырезали. Добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч – выжил.

По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы: щепетильная Франция одаряла легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в тридцать лет выглядящий на сорок, он жил на скромные проценты. Гулял по бульварам. Молодость прошла; проходила жизнь.

Кончались пятидесятые годы. Запахло алжирской вой-

ной. Только не воевать: его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в Союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пошел в советское посольство.

...В тридцать три он начал новую жизнь. Appetit к жизни всколыхнулся в нем: здесь все было иначе.

Он поступил в электротехнический институт. Влюбился и женился. Родился ребенок; защитили дипломы; получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском.

Нормальный инженер вставал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыклась.

Всех забот у него казалось – что подарить жене и детям. Лысенький, очкастенький, небольшой, а – крепок, как дубовый бочонок.

Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером. Парил под белым парусом в синем небе и хохотал.

Святой из десанта

Солдаты пьют водку в поезде.

– За дембель!

Жаркий сентябрь. Густой дух общего вагона.

Заглядывает девка с тупым накрашенным лицом.

– О, Тонечка! Садись...

Кокетливая улыбка.

– Входи, – разрешает рослый в тельняшке – десантник, и она садится рядом.

– За вас, мальчики, – берет стакан и ломоть оплившей колбасы.

– А пацан где?

– Спит.

– Сколько тебе лет, Тонечка?

– Восемнадцать!..

– От кого ребенок-то, Тонечка?

– Не помню!.. – невзначай касается бедра десантника. Тот не смотрит.

– Сама же родила, и сама же как со щенком...

– Тю! Твой ли...

– Не мой...

Ухмыляясь, коротко раскрывает про ночь: что, где и как.

– Гад!.. – говорит девка и не уходит.

Десантник и коротыш-танкист идут в тамбур курить.

Белое небо палит. Орлы следят со столбов не взлетая.

– Прочти, – дает танкисту из бумажника письмо.

Юля выходит замуж и просит простить; он обязательно встретит лучшую; а ее забудет; а может быть, они останутся добрыми друзьями.

Десантник тоже читает, складывает и плачет.

– За две недели до дембеля получил. Два года ждала! За две недели!

Показывает фотографию: беленькая девушка у перил моста, в руке газовый шарфик.

– Красивая... – он плачет, пьян.

– И на ...! Пусть! – кричит. – Еще десять найду! Так! Еще десять найду!

Приятеля на верхних полках трудно дышат ртами во сне. Тонечка ждет у окна.

Десантник приносит ребенка.

– Мам-ма, – сын тянется к ней.

Она шлепает его по рукам.

– Мам-ма!.. – лепечет он.

– Сердитая мамка, – утешает десантник, качая его на колене. – Ничего, Толенька, скоро вырастешь, большой станешь. В армию пойдешь, – вздыхает. – А солдату плакать не положено.

– Плозено, – кивает тот.

– Давай-ка закурим с тобой, – щелкает портсигаром, осторожно вставляет ему в рот незажженную папиросу.

– У-лю-лю! – радуется Толька.

– Внешний вид, брат, у тебя... Наденем-ка головные уборы, – нахлобучивает на голову голубой берет с крабом и звездочкой.

– Па-а машинам! – кричит. – Десант готов. Вв-ву-у!

– Вв-ву-у-у! – ликует Толька, взлетая на его колене, и машет ручонками.

Не думаю о ней

Тучи истончались, всплывая. Белесые разводья голубели. Луч закрытого солнца перескользнул облачный скос. Море вспыхнуло.

Воробьи встреснули тишину по сигналу.

Троллейбус с шелестом вскрыл зеленоглянцевый пейзаж по черте шоссе.

Прошла девушка в шортах, отсвечивали линии загорелых ног. Он долго смотрел вслед. Девушка уменьшилась в его глазах, исчезла в их глубине за поворотом.

– Паша, как дела, дорогой? – аджарец изящно помахал со скамейки.

Паша приблизил сияние белых брюк и джемпера.

– В Одессу еду, – пригладил волосы. – В университет поступил, на юридический.

– Как это говорится? – аджарец дрогнул усами. – С Богом, Паша, – сердечно потрепал по плечу.

Они со вкусом прощались.

Он следил за ними, улыбался, курил.

Кончался сентябрь. Воздух был свеж, но влажный, с прелью, и лиловый мыс за бухтой прорисовывался нечетко.

Сквер спускался к пляжу. Никто не купался. Море тускло и врезалось зубчатой пеной.

Капля прозвучала по гальке и, выждав паузу, достигли

остальные.

Он встал и направился в город.

Дождь мыл неровности булыжников. Волнистые мостовые яснили. Улочки раскрывались изгибами.

В полутемной кофейне стеклянные водяные стебли с карнизов приплясывали за окном. Под сурдинку кавказцы с летучим азартом растасовывали новости. Хвосты табачного дыма наматывались лопастями вентиляторов.

Величественные старцы воссели на стулья, скребнувшие по каменному полу. Они откидывали головы, вещая гортанно и скорбно. Коричневые их сухощавые руки покоились на посохах, узлы суставов вздрагивали.

Подошла официантка с неопрятностью в походке. Запах кухни тянулся за ней. Она стерла звякнувший в поднос двугривенный вместе с крошками.

На плите за барьером калились джезвы. Аромат точился из медных жерл. Усач щеголевато разводил лаковую струю по чашечкам, и их фарфоровые фары светили черно и горячо.

Он глотнул расплав кофе по-турецки и следом воды из запотевшего стакана. Сердце стукнуло с перерывом.

Старики разглядывали блестящую тубу из-под французской помады. Один подрезал ее складным ножом, пристраивая на суковатую палку. Глаза под складчатыми веками любопытствовали ребячески.

Остаток кофе остыл, а вода нагрелась, когда дождь пере-

стал. Просветлело, и дым в кофейне загустел слоями.

Он пошел по улице направо.

Базар был буен, пахуч, ряды конкурировали свежей рыбой, мандаринами и мокрыми цветами. Теряясь в уговорах наперебой и призывах рук, он купил бусы жареных каштанов. Вскрывая их ломкие надкрылья, с интересом пожевал сладковатую мучнистую мякоть.

Серполищый грузин ощупал рукав его кожаной куртки:

– Продай, дорогой. Сколько хочешь за нее?

– Не продаю, дорогой.

– Хочешь пятьдесят рублей? Шестьдесят хочешь?

– Спасибо, дорогой; не продаю.

Грузин любовно следил за игрушечной сувенирной финкой, которой он чистил каштаны. Лезвие было хорошо хромировано, рукоятка из пупырчатого козьего рога.

– Подарок, – предупредил он. – Друг подарил.

Тогда он гостил у друга в домике вулканологов. Расстояние слизнуло вуаль повседневности с главного. Они посмеивались над выдохшимся лекарством географии. Вечерние фразы за спиртом и консервами рвались. Им было о чем молчать. Дождь штриховал паузы, шуршал до утра в высокой траве на склоне сопки.

...Допотопный вокзальчик белел под магнолиями в центре города. Пустые рельсы станции выглядели нетронутыми. Казалось, свистнет сейчас паровозик с самоварной трубой, подкатывая бутафорские вагоны с медными поручнями. В

безлюдном зале сквозило влажным кафелем и мазутом. Дре-
воточцы тикали в сыплющихся панелях. Расписания сулили
бессрочные путешествия, преодолевающие терпение.

— Вам куда? — полуусопшая в стоялом времени кассирша
клюнула приманку разнообразия.

— ...

Сумерки привели его к саду. Чугунные копыя ворот были
скованы крепостным замком. Скрип калитки звучал из дав-
но прошедшего. Шаги раскалывались по плитам дорожки.

Листья лип чутко пошевеливались. Купол церкви стерегся
за вершинами. Грузинские надписи вились по древним сте-
нам. Смирившаяся Мария обнимала младенца.

...В кассах Аэрофлота потели в ярких лампах среди ре-
клам и вазонов, проталкивались плечом, спотыкаясь о чемо-
даны, объясняли и упрашивали, просовывая лица к окошеч-
кам, вывертывались из сумятицы, выгребая одной рукой и
подняв другую с зажатыми билетами; он включился в дви-
жение, через час купил билет домой на утренний самолет.

Прокалывали небосвод созвездия и одиночки.

Пары мечтали на набережной. Он спустился к воде. Волна
легла у ног, как добрая умная собака.

Сухогрузы у пирсов светились по-домашнему. Иллюми-
наторы приоткрывали малое движение их ночной жизни. Из-
нутри распространялось мягкое металлическое сопение ма-
шины.

Облака, закрывая звезды, шли на юг, в Турцию.

Ему представились носатые картинные турки в малиновых фесках, дымящие кальянами под навесом кофеев на солнечном берегу.

За портом прибой усилился; он поднялся за парпет. Водяная пыль распаивалась радужными веерами в луче прожектора.

Защелкал слитно в неразличимой листве дождь.

В тихом холле гостиницы швейцар читал роман, облученный от переплетов и оглавлений. Неловкие глаза его не поспевали за торопящейся перелистывать рукой.

Коридорная сняла ключ с пустой доски и уснула на кушетке.

Номер был зябок, простыни влажноваты. Он открыл окно, свет не включал.

Не скоро слетит в рассвете желтизна фонарей.

И – такси, аэропорт, самолет, и все это время до дома и еще какие-то мгновения после привычно кажется, что там, куда стремишься, будешь иным.

Он расчеркнулся окурком в темноте.

Котлетка

Сидорков зашел в котлетную перекусить побыстрому. Очередь пропускалась без проволочек.

За человека впереди котлеты кончились, и буфетчица отправилась с противнем на кухню.

Сидорков так и ожидал, и почувствовал одновременно с досадой и слабое удовлетворение, что ожидание подтвердилось и неприятная задержка, осуществившись, перестала нервировать неопределенностью своей возможности. Ему не везло в очередях, — что за пивом, что на поезд: либо кончалось под носом, либо из нескольких его очередь двигалась медленней, как бы ни выбирал, а если переходил в другую, что-нибудь случалось в ней; возможно, ему нравилось считать так, чтобы не относиться всерьез.

Время поджимало. Очередь выросла, начала солидарно пошумливать. Выражали безопасное неудовольствие отсутствующей буфетчицей, и возникало отчасти подобие взаимной симпатии; каждый отпускаявший вполголоса замечание хотел полагать в соседе союзника, который если и не поддакнет, то примет благосклонно, — и в то же время не рисковал нарваться на профессиональную огрызную работника обслуживания и вообще задеть ее, для чего требуется определенная твердость и уверенность внутреннего «я», большее внутреннее напряжение, некоторое даже мужество — выра-

зить человеку, чужому и от тебя не зависящему, претензию в лицо — если вы не склочник.

Перепало безответной бабке, убиравшей столы.

Сидорков сдерживал раздражение. Время срывалось. Опыт подсказывал настроиться на обычную длительность паузы, но желание, сочетаясь с арифметической логикой, вызывало надежду, что буфетчица вернется тут же, сейчас вот, поскольку оставить пустой противень и взять другой с готовыми котлетами — полминуты, и это противоречие делало ожидание беспокойным. Он представлял, как буфетчица сидит за дверью и курит, расслабившись, вытянув усталые ноги, переговариваясь с поварами. Он мог войти в ее положение и посочувствовать: работа тяжелая, только стоя, в напряженном темпе, давай-давай, поворачивайся — нагибайся — наливай — отпускай — отсчитывай сдачу — не ошибись, — не имеющий конца людской конвейер, да некоторые с норомом, с кухни жар и чад, с улицы холод, и изо дня в день, и зарплата не самая большая... Сидорков отдавал себе отчет, что на ее месте точно так же использовал бы возможность перекурить минут десять.

Естественный ход вещей, да, философствуя рассуждал он. Во всякой профессии свои проблемы, накладки, минусы, и неверно чрезмерно уповать и напирать на борьбу с недостатками, гладко только на бумаге, в жизни неизбежно действует закон трения. И каждый стремится уменьшить трение относительно себя, это просто необходимо до каких-то пределов,

иначе невозможно, иначе полетим все с инфарктами, как выплавленные подшипники из обоймы, и всю машину залихорадит. А далее получается, что профессионализм (то есть – делать хорошо свое дело, обращая уже в следующую очередь внимание на подчиняющие цели и изначальные абстрагирующиеся задачи) постепенно превращается подчас в наплеватьство на все мешающее тебе жить поспокойнее на своем месте. И получается, вроде, – никто ни в чем не виноват. Работа есть работа, деньги даром никому не платят, у каждого трудности, в положение каждого можно войти... Но если ты при столкновении своих интересов с чьими-то будешь добросовестно и чистосердечно входить в положение другого – останешься при пиковом интересе. Тоже не жизнь.

В конце концов, у нее рабочее время, она обязана обслужить меня, не заставляя ждать, я имею право, следует настоять на своем, – явилась примерная формула итогом размышлений.

Подбив базу для законного раздражения, он тупо устоялся в пространство за прилавком.

Минутная стрелка двигалась, и Сидорков распалялся тихой, неопасной и однако сильной злобой. Очередь роптала.

Пойти позвать ее. Но все стояли, и он стоял.

Он уже почти опаздывал, но и выстоянного времени было жаль, буфетчица могла выйти каждую секунду, а бежать все равно придется, чего ж голодным и с подпорченным настроением, надо было сразу уйти, но упрямство появилось,

и злился на себя за это неразумное упрямство, и от этого еще больше злился на буфетчицу. И злился, что не может вот так, свободно, взять и постучать по прилавку, крикнуть ее громко. В подобных положениях всегда: сразу не сделаешь, а позже неловко уже, робость какая-то, скованность, черт его знает, связанность какую-то внутреннюю не одолеть, неловкость и раздражение растут, и все труднее перестроиться на другое поведение, во власти инерции ждешь как баран, в себе заходясь без толку, пока раздражение не перейдет меру, и тогда срываешься на скандал, не соответствующий малости причины, – если все же срываешься; а все оттого, что перетерпел, не последовал сразу желанию, пока был практически спокоен. Особенно в ресторане: сначала сидишь в приятном ожидании, потом близится и длится время, когда официанту полагалось бы и материализоваться, еще сохраняешь приятную мину – а желудок руководствуется условным рефлексом и выделяет желудочный сок, и там начинает тянуче посасывать, жрать охота, халдеи ходят мимо, и не знаешь который обслуживает твой столик, они не откликаются, возникает неуверенность, неловкость, смущение, будто что-то не так делаешь, чувствуешь себя вне царящей вокруг приятной атмосферы, бедным родственником, незванным гостем, нежелательным, несостоятельным, неуместным и чужим здесь – при этом имея полное право здесь быть, да не очень-то тут права покачаешь, сидишь тоскливо, ущемленный, злой, голодный, буквально оплеванный из-за такой ерунды, прокли-

нающий собственное неумение держаться с весом и достоинством, ненавидящий официанта, представляющий: грохнуть сейчас вазу об пол – сей момент мушкой подлетит, ну и что, мол нечаянно, поставьте в счет, так ведь не грохнешь, в лучшем случае отправляешься искать администратора, заикаясь от унижения и злости, с уже испорченным настроением.

Сидорков растравлялся памятью о нескольких совершенно напрасно не разбитых вот так вазах, пепельницах и тарелках, и в поле его зрения пребывала тарелка на прилавке, служащая для передачи денег. Дешевая мелкая тарелка с клеймом общепита. Треснуть ею по кафельному полу – живо небось прибежит.

Искушение стало сильным. И последовать ему ничем ведь, в сущности, не грозит.

Он понял, что сейчас разобьет тарелку об пол.

Отчего нельзя? Сколько можно в жизни сдерживаться?! Неужели никогда в жизни он не даст выход своему желанию, раздражению, порыву?! В морду кому надо не плюнуть, хулиганам в автобусе поперек не встрять, боишься за место и стаж, боишься побоев или милиции, и каждый раз после погано на душе и остается осадок, разъедающий личность и лишаящий уверенности и самоуважения. Что же, никогда в жизни?.. Да жив будет, что случится-то?! Неужели никогда!.. Что случится!!

Он перестал сдерживаться, позволил приотпуститься внутреннему напряжению, бешенство поднялось превраща-

ясь в легкую холодноватую сладко-отчаянную готовность, зрение на момент расфокусировалось, сбилась ориентировка, кровь отлила, затаилась дрожь пальцев... внешне спокойным и даже быстрым движением он взял тарелку и пустил за прилавок на кафельный пол.

Тарелка пролетела, чуть косо коснулась пола и с громким звонким звуком расплоснулась, растрескиваясь, и осколки порскнули по кафелю кругом от места удара.

Ближние в очереди глянули молча, тихо.

Сидорков стоял бледный, руки в карманах тряслись, вроде и легко на душе стало, взял и сделал, но какое-то непомерное волнение медлило отпускать, трудно с ним было сладить, даже странно.

Буфетчица вышла секунд через пятнадцать. Ничего не сказав, с замкнутым лицом, она установила поднос с котлетами и ногой отодвинула к стене обломки покрупнее. Быстрые движения были нечетко координированы; она смотрела мимо глаз; отпуская первому в очереди, она придралась ни с чего зло, но коротко и тихо. Судя по признакам, эта тарелка подчинила волю ее, сознающей неправомерную затянутость задержки, враждебной молчаливой очереди. Сейчас неуверенность, скованность, сдерживаемая злость чувствовалась в ней.

Только через несколько минут, стоя за высоким столиком в углу, доев вторую котлету и принимаясь за булочку с кофе, Сидорков уравнил дыхание и унял подрагивание пальцев, и

то не до конца. Он испытывал в утихающем волнении некоторую счастливую гордость, и презирал себя за это волнение и гордость, презирал свою слабость, когда такое незначительное событие, микропобедочка, заставляет прикладывать еще какие-то усилия и вызывает постыдное волнение... недостойное мужчины... и все-таки была гордость.

Эхо

Похороны прошли пристойно. Из крематория возвращались на поминки в двух автобусах, поначалу с осторожностью, а потом все свободнее говорили о своем, о детях, работе, об отпусках.

Квартира заполнилась деловито. Мужчины курили на лестнице; появились улыбки. Еда, закуски были приготовлены заранее и принесены из кулинарии, оживленное бутылками застолье по-житейски поднимало дух.

После первых рюмок уравнился приглушенный гомон. Как часто ведется, многочисленная родня собиралась вместе лишь по подобным поводам. Некоторые не виделись по несколько лет. Мелкие междоусобицы отходили в этой атмосфере (покачивание голов, вздохи), царили приязнь и дружелюбие, действительно возникало некоторое ощущение родства; отношения возобновлялись.

Две дочери, обеим под пятьдесят, являлись как бы двумя основными центрами притяжения в этом несильном и приятном движении общения, в разговорах на родственные, наезженные темы. В последние годы отношения между ними держались натянутые (из-за семей), – тем вернее хотелось сейчас каждой выказать любовь к другой, получая то же в ответ...

Разошлись в начале вечера, закусив, выпив, усталые, но не

слишком, чуть печальные, чуть довольные тем, что все прошло по-человечески, что все были приятны всем, а впереди еще целый вечер – отдохнуть дома и обсудить прошедшее, – с уговорами «не забывать», куда вкладывалась подобающая доза братской укоризны и покаяния, с поцелуями и мужественными рукопожатиями, сопровождающимися короткими прочувственными взглядами в глаза; с удовлетворением.

Остались ближайшие: дочери с мужьями, сестра. Помыли посуду, выкинули мусор, расставили на места столы. Решили, сев спокойно, что вся мебель останется пока на местах, «пусть все будет как было», может быть квартиру удастся отхлопотать.

Назавтра дочери делили имущество: немногочисленный фарфор и хрусталь, книги, напитанные нафталином отрезы. Вдыхали, пожимали плечами, печально улыбались, неловко предлагая друг другу; много вытаскивалось устаревшего, ненужного, того, что сейчас, уже не принадлежащее хозяину, следовало именовать хламом – а когда-то вкладывались деньги... «Вот так живешь-живешь...» «Кому это теперь все нужно...» И все же – присутствовало некоторое радостное возбуждение.

Увязали коробки. Разобрали фотографии. Пакеты со старыми письмами и т. п. сожгли не открывая на заднем дворе. Помыли руки. Попили чаю...

Договорились в ЖЭКе, подарив коробку конфет. В квартире стал жить старший внук, иногородний студент. Пропи-

сать его не удалось. Дом шел на капитальный ремонт, через два года жильцов расселили; студент уехал по распределению тогда же. Перед отъездом продал за гроши мебель – когда-то дорогую, сейчас вышедшую из моды, разохшуюся. Сдал макулатуру, раздарил ничего не стоящие мелочи. Среди прочего была старая, каких давно не выпускают, общая тетрадь в черном коленкоре, с пожелтевшими, очень плотной гладкой бумаги страницами, на первой из них значилось стариновскими прыгающими крючками:

«Костер из новогодних елок в углу вечернего двора. Жгут две дворничихи в ватниках и платках. Столб искр исчезает в черном бархатном небе. Погода снежная, воздух вкусный. Гуляя, я с тротуара увидел за аркой огонь и, подумав, подошел. Стоял рядом минут двадцать; очень было хорошо, приятно: мороз, снег в хвое, запах смолы и пламени, отсветы на обшарпанной стене. Что-то отпустило, растаяло внутри: я ощутил какое-то единение с жизнью, природой, бытием, если угодно. Давно не было у меня этого действительно высокого, очищающего чувства всеприемлемости жизни: счастья.

«Сегодня, сидя за столом с газетой, заметил на стене паука. Паучок был небольшой, серый, он неторопливо шел куда-то. Вместо того, чтобы убить его, смахнуть со стены, я наблюдал – пока не поймал себя на чувстве симпатии к нему; и понял, насколько я одинок.

«Ходи по путям сердца своего...

«Решительно не помню сопутствующих подробностей,

осталось лишь впечатление, ощущение: белая ночь, тихий залив, серый и гладкий, дюны в клочковатой траве, изломанный силуэт северной сосны и рядом – береза. И под ветром костерок, догорающий...

«Почему так часто вспоминается костер, огонь?..

«Еще костер – на лесозаготовках в двадцать шестом году. Нам не нам подвезли тогда хлеб, лежали у костерка на поляне, последние цыгарки на круг курили, усталые, небритые, смеркалось, дождик заморосил; и вдруг бесконечным вдохом вошло счастье – подлинности жизни, единения и братства присутствующих... век бы не кончалось... черт его знает как выразить...

«Дождь – дождь тоже... после конференции в Одессе, в шестьдесят третьем, в октябре, видимо. Я улетал наутро, домой и хотелось и не хотелось, Ани не было уже, а весь день и вечер бродил по городу, моросил дождь, все было серое и блекнувшее, буровато-зеленое, печально было, и впереди уже оставалось мало что, да ничего почти не оставалось, пил кофе, я курил еще тогда, и дома, улицы, море, деревья, дождь, серая пелена... а как хорошо, покойно как и ясно на душе было.

«Иногда мне думается, что каждый имеет именно то, чего ему больше всего хочется (обычно неосознанно). Может быть, если каждый это поймет, то будет счастлив? Или это спекуляция, утешительство?

«Я всегда был эгоистом. Гедонистом.

«Степь, жара, сопки, поезд швыряет между ними, солнце скачет слева направо, опять встали, кузнечики трещат, цветы пестрят, кружат коршуны, дурман и марево, снова движение, лязг и ветер в открытые двери тамбура, я аж приплясывал и пел «Полным-полна коробушка», не слыша своего голоса!..

«Решительно надо пошить новый костюм.

«Я боюсь. Господи, я боюсь!!

«До 20 необходимо: 1. Отослать статью в энциклопедию. 2. Отреферировать Т. К. 3. Уплатить за квартиру за лето.

«Охота. Утренняя зорька, сизый лес, прель и дымок, холодок ожидания и воздух, воздух...

«Облака. Сегодня сидел в сквере и долго смотрел. Низкие, темные, слоистые, их какое-то вселенское вечное движение в бескрайности, – сколько их было в жизни моей, в разные времена и в разных местах, все было под ними, облака...

«В самом конце утра или перед вечером случается редко странное и жутковатое освещение: зеленовато-желтое, разреженное, воздух исчезает из пространства, тени резкие и глухие, – словно нависла всемирная катастрофа...

«Печали мои. Ерунда. Память. Истина».

Аспирант закрыл тетрадь, попавшую к нему со стопкой никому не понадобившихся записей и книг, – закрыл с почтением, пренебрежением, превосходством. Аспиранту было двадцать четыре года. Он строил карьеру. Смерть научного руководителя его раздосадовала. Она влекла за собой

ряд сложностей. Аспирант размеривал время на профессию к сорока годам. Он был перспективный мужик, пробивной, знал, где что сказать и с кем как себя вести. Он считал признаком комфорта и пресыщенности позволять себе элегические вздохи, когда главная цель жизни благополучно достигнута. «И далеко не самым нравственно безупречным образом», — добавил он про себя.

Шеф его имел в прошлом известность одного из ведущих специалистов страны по кишечнорастворимой хирургии крупного скота. Часто делился с грустью, что ныне эта отрасль практически не нужна: лошади свое значение в хозяйстве утратили, коров дешевле пустить на мясо, чем лечить; когда-то обстояло иначе... Последние годы почти не работал, отошел от дел кафедры, чувствовал себя скверно; после смерти жены жил один; был добр, но в глубине души высокомерен и нрава был крутого, «кремень».

Крупный, грузный, с мясистым римским лицом, орлиным носом, лысина в полукружии седины, носил черный с поясом плащ и широкополую шляпу, походил на Амундсена, или старого гангстера, или профессора, кем и был.

Нас горю не состарить

Слова к попутчику

Солнце, стусок космического огня в бесконечности, так жутко живописен закат за черным полем и бегущим лесом в окнах вагона, что матери показывали его детям.

* * *

– Я жизнь – люблю! Жить люблю. Это же, ох елки зеленые, счастье какое; это понять надо.

И когда услышу если: жить, мол, не хочется, жизнь плохая, – не могу прямо... в глотку готов вцепиться! Что ты, думаю, тля, понимал бы! Куда торопишься!..

...Я не очень о таком задумывался до времени.

В армии я монтажником был, высотником. И после дембеля тоже – в монтажники. Специальность нравится мне, еще ребята отличные подобрались в бригаде, заработки – хорошие заработки.

Поначалу же как? – трясешься. Я в первый раз на высоту влез – влип, как муха, и не двинуться. Ну, потом перекурил, – шаг, другой, – пошел... Месяца через четыре – бегал – только так!

Заметить надо – салаги не срываються; перестрахуется все-

гда – салага. Случается что – с асами уже. Однако – не старики, опыта настоящего нет, – но вроде постигли, умеют – им все по колено.

И вот – работаю я на сорока метрах. Три метра на два площадка – танцплощадка для меня! Я и не закреплялся, куда я денусь? И – сделал назад шагжок лишний...

Внизу тяга была, трос натянут над землей. Я спиной летел. Попал на тягу, она амортизировала, и от нее уже я упал на землю. Удар помню.

Ну, ключица там, ребра, нога поломанная. Главное – позвоночник повредил. Шок там, тошнит, черт, дьявол, лежу поленом в гипсе, как в гробу, а жить хочется – ну спасу нет как, за окном снежинки, воробьи на подоконнике крошки клюют, и так жить хочу... аж дышать затрудняюсь от усилия.

Месяцы идут...

...Короче, когда выписывался, доктора меня здорово поправляли.

По комиссиям я оттопал... будьте-нате. Добился – обратно в монтажники.

Теперь я на риск фиг зря пойду. Такое счастье чемпионам по везению через раз выпадает.

А сейчас вот к брату на свадьбу еду. Ребята мне, понимаешь, триста ре на дорогу скинулись с получки. У нас так: если там праздник у кого или еще что – мы скидываемся всегда. И правильно, верно же?

* * *

«Возлюби ближнего...» Душа жаждет счастья в братстве.
И несовершенство окружающих ранит.

* * *

Вражда безответна не чаще, чем любовь – взаимна.

* * *

«Все мы – экипаж одного корабля»; да. Но как порой успевает переругаться команда к концу рейса!..

* * *

– Любил он ее, понял? Со школы еще. А она хвостом крутила.

Ну, он – вопрос ребром. И свалил на Камчатку.

Из резерва его на наш СРТ определили.

В район пока шли, болтало нормально. Он, салага, зеленым листом прилипнет к койке или наверху травит, глотает брызги. Но треску стали брать – оклемался, ничего; держится.

Пахарь оказался, свой парень. К концу рейса ребята уважали его.

Пришли мы с планом тогда; загудели. Как-то он и выложил жизнь-то свою. Мы, значит: да пошли ты ее, шкуру, отрежь и забудь, ты ж мореман, понял? Конечно, сочувствуем сами тоже.

Я сразу снова в рейс, денегат подкопить, у стариков в Брянске пять лет не был. Он со мной: чего на берегу; и верно...

Неудачно сходили, тайфун нас захватил. Течь открылась, аврал, шлюпку одну сорвало. А его смыло, когда крепил. Море, бывает, что ж...

...Родственников официально извещают, как положено. А я швабре этой написать решил: адрес в записной книжке нашел. И написал, не так чтобы нецензурно, но, однако, все, что есть.

С полмесяца после лежу раз по утрянке в общежитии, башка муторная, скука. Стук в дверь – входит девушка. Красивая!.. по сердцу бьет... Вы, говорит, такой-то? И слезы сразу. На пол опустилась и рыдает так, не остановить девчонку. Дела...

До меня – доходит. Такая я сякая, говорит, из-за меня он сюда приехал, один он меня любил, и прочее... И теперь я всю жизнь с ним буду, замуж не выйду никогда, сюда институт кончу работать приеду, где он погиб, и... Эх, переживания бабские, обеты!.. Молодая, – пройдет.

Так – вот тебе... она третий год у нас в Петропавловске, в

областной больнице работает. И не замужем. Мужики льнут – на дистанции держит. Что? Точно; я знаю...

Люблю я ее, понял?

* * *

Отказываясь от прихотей настроения, мы лишь следуем желанию, которое продленнее настроения.

* * *

Коммуникативная функция курения.

* * *

– Акцент?.. да. Нет, не из Прибалтики. Я немец. За тридцать лет выучишь язык хорошо. С войны, да плен. Я пришел сам.

Я воевал. Все воевали. Я был солдат. Я сражался за родину. Я так считал. Нам так говорили. Мы считали так. Война.

У меня была семья. Жена, сын и дочка. И старые родители. И брат.

Брат погиб в сорок первом. И я воевал со злом. Я хотел мстить. Я хотел скорее кончить войну, и чтобы моя семья жила хорошо, и я вернулся к ней. Я думал правильно – нам

так говорили.

В сорок втором они погибли все. Бомбежка. Город Киль. Я не хотел умирать. Умерли все, кого я любил. Их не было больше. За кого мне воевать?

Мы наступали; какая победа? родина – фотография в кармане. Нет смысла.

Идеи? Я не был национал-социалист. Фюрер? Он высоко, Бог; человеку надо тепло людей. Только мальчики и фанатики могут думать иначе. Бога нет, когда нет тех, кого любишь.

Был долг солдата, присяга; им легче следовать, чем нарушить... легко умирать, когда терять некого... я не боялся, но зачем; я не хотел. Они умерли и не будут счастливы! мне говорят: теперь умри ты! – нет!

Даже – я хотел смерть, но воевать – нет! Я дезертир – не трус, нет. Долг, присяга, – я был солдат, – я пошел против – я был храбр! Да! Я был готов умереть, в плен, в Сибирь, – я не хотел воевать.

Оказалось – не страшно... Потом... Я остался в России. Это долго говорить... Мне лучше здесь. Да.

* * *

Он был блестящий преподаватель – школьный учитель математики. Он ревностно следил, как его ученики поступали в центральные вузы и защищали диссертации. У него не было ноги, он ходил в железном корсете. Последний раз он

водил свою роту в рукопашный в июне сорок четвертого года под Осиповичами.

* * *

Мое окно выходит на восток; на старости лет я встречаю рассветы. О память, упрямая спекулянтка, все более скаредная.

* * *

Для большинства горожан соловей – метафора.

* * *

– Мы почему за водкой разговариваем? – душа отмякает. Теряешь с возрастом нежность, так сказать, чувств. Предлагаешь: «Выпьем!» – а на деле это: «Давай поговорим...»

Заброшенный город мне снился. Стены сиреневым отсвечивают, полуобвалившиеся лестницы деревьями затенены. И щемяще – наяву не передать. Просыпаешься – в памяти все как слезами омыто блестит. Утро пойдет – словно роса высыхает, ощущение только остается, выветривается со временем.

В жизни – привычка; но во сне случится – самым нутром

позабытым чему-то касается.

Девчонка снилась. С семнадцати не видел. Влюблен был – юность. Уж и не помнил начисто сколько лет. А тут – сидит печальная, ждет, старая сама – и все одно девчонка. Мать честная, взяла меня за руку – ввек я такого не испытывал... не пережил того, что в лицо ее забытое глядя. Уж и внук у меня есть, с женой хорошо жил всегда.

Раньше не было, последние годы привязалось лишь, дьявол дерит.

В школе я архитектором стать мечтал. Дома строить, города. Война свое сказала. Взрывник я; вот какой поворот. Взрывать оно тоже – одно дело со строителями; конечно...

* * *

Странно узнавать о смерти знакомого много спустя.

* * *

– Причесочка-то. «Нет...» Ладно, не темни. Я понимаю. Завязал я давно. Ты молодой совсем, советую: кончай с этим делом. Верно.

Я после войны, понимаешь, без отца рос. Озоровал, и понятно... С ерунды – дальше больше... Полагал – кранты; четыре судимости. Молодость за проволокой осталась. Спе-

циальность: тяни-толкай. Мать умерла, я и на похоронах не был... сидел опять. Выходишь – кореша встретят вроде, подержат; отметить, погулять хорошо – ан и деньги занадобились!.. Круг известный.

...Последний раз, в Саратове, следователь мне попался, майор Никифоров... Так он мне, понимаешь, по-человечески... Я: знакомо, добротой берет; выкуси!.. Он – свое. И ни разу – голос ни разу не повысил! Веру в тебя, растолковывает, имею, не конченный ты человек, стоящий. Перед судом о скидке все хлопотал... Такое отношение, понимаешь.

Все годы в лагерь мне писал. Помочь с работой обещал, с пропиской, вообще насчет жизни. Задумаешься, конечно.

Освободился я, – ну вот только из ворот шагнул! – он меня встречает.

.....

Прописался я, на завод оформился, все путем. Он зайдет иногда, по-дружески: как живешь. Посидим, бывает выпьем. Приглашает, у него бывали.

Сейчас я в Кирове живу, жена сама оттуда. В отпуске на теплоходе познакомились.

Переписываемся с ним.

Вот на день рождения еду к нему. Звал очень. Он на пенсию тот год вышел.

Слушай меня, паренек. Завязывай.

* * *

Июнь, бульвар, людно, два юноши пересчитывают на ходу купленные букеты (экзамены? защита дипломов?). Один вручают встречной старушке.

Они читали в детстве Андерсена?..

* * *

Если завтра исчезнут все шедевры – послезавтра мы откроем другие.

* * *

Искусство – и для того, чтобы каждый осознал, что он всемогущ. Дело в том, чтобы открыть тот аспект жизни, где ты непобедим.

* * *

– Хрен его знает, как вышло. Главное – он ноги, видать, из стремян не вынул. Да и – Катунь; иди выплыви...

К берегу подошли, значит, с гуртом, пасти стали. Он пас, на коне, остальные лагерь делают, кто что.

А она с того берега на байдарке переправлялась. За хлебом хотела в деревню, туристы их потом говорили.

И опрокинуло ее. Тонет – на середине. Вода кружит, затягивает.

Он с конем – в реку. Телогрейку не скинул даже. Хотел доплыть на коне.

Ее совсем скрывает. Он доплыл почти!.. Пороги... вода, видать, коню в уши попала, или что... Закрутило тоже... И все.

Через год друзья ее, туристы вернулись, памятник поставили; красивый, стоит над Катунью. Молодая была.

Он тоже молодой был.

* * *

Я поднимался на Мариинский перевал. Конь шел шагом. Колеса таратайки вращались мягко. На склоне, метрах в восьмистах, алтаец пас овечий гурт. Качаясь в седле, он высвистывал «Белла, чао». Серый сырой воздух был отточенно чист – звучен, как бокал. В тишине я продолжил мотив. Он помахал рукой. У поворота я сделал прощальный жест.

Карьера в никуда

Колечко

1

– А и глаз на их семью радовался. И вежливые-то, обязательные: криков-ссор никогда, всё ладом – просто редкость...

И всё – вместе только. В отпуск хоть: поодиночке ни-ни, не водилось; только всё вместе. И почтительно так, мирно... загляденье.

Не пил он совсем. Конечно; культурные люди, врачи оба. Тем более он известный доктор был, хирург, к нему многие хотели, если операцию надо. Очень его любили все – простой был, негордый.

...Они еще в институте вместе учились. И уж все годы – такая вот любовь; всё вместе да вместе. На рынок в воскресенье – вместе; дочку в детский сад – вместе. Она с дежурства, значит, усталая, – он уж сам обед сготовит, прибрано все. Или ночью вызовут его – она спать и не думает, ждет. В командировках – звонит каждый день ей: как дела, не волнуйся.

К праздникам ко всем – друг дружке подарки: одно там, другое... а дочка та вовсе ходила как куколка, ясное дело. И уважительная тоже, воспитанная, встретит: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете». Крохой еще – а тоже вот; воспитание. А постарше, и в институте: «Не нужно ли чего, не принести ли?..» Радость родителям – такие дети. Какие сами – такую и воспитали.

Услышишь поди, муж где жену бьет, гуляет она от него, дети там хулиганят... или врачи те же лечат плохо... а это – вот они: и даже на душе хорошо. Ей-же слово.

Поживешь – может, плохого в жизни и больше. Как глядеть... А только, подумать, не в зимогорах ведь, – в таких людях главное. Они основа... настоящая...

2

– Сюсюканье это... смешно даже. Легкомысленность одна... Не обязательно же – попрыгуньи, стрекозлы; нет... легкомысленность неглубоких натур: как повернется – к тому душой и прилепятся. Растительная привязанность. Тут не постоянство чувств, тут скорее постоянное отсутствие подлинных чувств. Чеховские душечки. Старосветские помещики...

Он мне вообще никогда не нравился: ни рыба ни мясо. В компании пошутить – поддержит, погрусти – поддержит: сам – ничего. А она... смурная всегда была какая-то. Два раза про-

шлись, трах-бах!.. женились... Два притопа три прихлопа...

Не могу объяснить, вроде напраслины... но несерьезно это выглядело, как ах-любовь из плохого кино.

Ну конечно – он фронтовик был, с медалями, – так у нас половина ребят была после фронта. Конечно – четвертый курс, подавал надежды в хирургии, у девочки головка закружилась... много ли такой надо.

Вот друг у него был, Сашка Брянцев – душа парень: веселый, умница... вот бы кому жить да жить... Все опекал его, за собой таскал; тот на все его глазами смотрел.

А в этой – ну что увидеть мог; пустенькая фифочка с первого курса. Улыбнулась ему – и выиграло ретивое.

Нет, я лично их тогда не одобряла. Конечно, у каждой свои взгляды, каждому в жизни свое, но я лично для себя не о таком мечтала. Все-таки о настоящей, глубокой любви мы все мечтали...

И промечтались... некоторые... И наказаны за идеализм дурацкий свой. Засекается крючок, дева старая. И хоть бы ребенка родила, пока могла; дура тупая!..

Да все-то достоинство их – в примитивности характера, видно: хватайся за счастье какое подвернулось и держи крепче, и будь доволен; но уважать за это – увольте...

3

– И по прошествии двадцати пяти лет окончательно яв-

ствует, что парнишка-то нас всех обскакал. И ни-чего удивительного: этот с самого начала свое туго знал.

Начиная буквально с того, что поселился с Сашкой Брянцевым. Брянцев: с кем, кричит, комнату на пару? Этот – тут как тут; набился. Умел влезть. Стал Сашкиным лучшим другом. Сашка-то везде был центральной фигурой – и этот при нем. В любой компании – желанные гости. На практику – Брянцев любого обольстит, завладеет лучшим направлением – и его следом тащит. Конспекты – одни на двоих; причем тут Брянцев не переутруждался. Так тандемом они светилами и были. Но Брянцев-то скорее издавал свет, а этот-то – отражал. Спец по тихой сапе.

Спокоен, упорен, занимался много – это да. Это было. И расчетлив же, клянусь, – на удивление; законченный прагматик, чужд любым порывам.

Грешно говорить, но прикинь-ка. Вот погиб Брянцев, лучший его друг. Единственный даже. Опустим эмоциональную сторону – мы не вчера родились: тут и фронт сказывается, и вообще он эмоциями не перенаделен... не будем драматизировать. А чисто житейски – имеем следующие проблемы. Во-первых (не по значению, а в порядке возникновения), придется вдвое платить за жилье – а денег ох не густо; или пускать кого, малопривно, друзей нет; или перебираться в общежитие, а среди года не дадут, и независимость не та, условий поменьше и для занятий – а долбил он зверски, – и для веселья – хотя на сей счет он не отличался. Во-вторых: через

год грядет распределение, а преимущество в выборе предоставляется семейным с детьми до года; да и двадцать пять лет – возраст, жениться все равно когда-нибудь надо.

И выбирается заурядная девочка с первого курса: оптимальное решение. Раз: она его уважает и почитает: он взрослый, способный, умный, подающий надежды, герой-фронтовик, – авторитет в семье обеспечен; его слово – закон. Два: единственная дочь обеспеченных родителей, им подкидывают, в плане материальном он не отяготился, а наоборот. Три: она юна, восемнадцать лет, чиста, достаточно мила, хозяйственна вдобавок: суп в тарелке, девочка в постели, – удовлетворены и потребность в женщине, и тщеславие, и естественное желание нормального быта. Четыре: до распределения они рожают ребенка, и их оставляют в областной больнице. Масса вопросов – одним махом, а?

Пусть я циник, – факты не меняются.

Он идет на место хирурга, и становится дельным хирургом, – по справедливости отдадим должное. Хорошие руки, интуиция; и какая-то демонстративная надежность в характере... У него и научная работа, он и в общественники лезет, и речи толкает, и кандидатскую кропает, и с любым-то умеет поладить, и в результате он областной хирург, и на него очереди, и он кандидат, и депутат горсовета, и вообще непоследняя личность. Достать, устроить, – в момент.

Кто удачливей? Гера Журавлев доктор в Москве? В Москве докторов – куда ни плюнь, у Геры гараж в другом

конце города, закручен как очумелый. А тут человек – на виду, при верхушке; не-ет, молоток.

И с женитьбой – суди: один ребенок – точка; обузы парень никогда не домогался. Тишь, гладь, спокойствие. Не имеет на стороне? чьи гарантии; у таких комар носу не подточит. И кроме – это и вряд ли увязывается с его идеалом хорошей жизни, и только. Благополучная карьера, благополучная личная жизнь. У таких ребят все путем. Реалисты, брат! Рассудочный брак – залог стабильности. Учись! – да поздновато нам...

4

– А куда ей было деваться? Несчастливая девчонка!.. Грехи наши...

Вот как это бывает в жизни.

Она любила Брянцева. Они решили о женитьбе.

Брянцева нашли утром в снегу, с пробитой головой. Послевоенный бандитизм...

Она осталась беременной.

И никто – никто ничего не знал!..

Девчонке восемнадцать лет. Она в помрачении от нереальности происходящего.

Аборты были запрещены.

Довериться? кому, как? чем поможет: сознаться в тайном, подсудное дело, огласка, позор!.. кошмар... жизни конец.

И ни единый – подозрений не положил. Примечали раз-
другой ее с Брянцевым – его с кем ни видели: по нем полфа-
культета сохло... что особенного.

И воспитания девочка была. Позор пуще смерти мере-
щился.

Что делать!..

И ведь на занятия ходить надо! улыбаться, разговаривать,
на вопросы отвечать! очереди занимать в столовой!..

Поехать и признаться к родителям? Кто даст отпуск...
неважно... С этим – к отцу-матери... доченька единствен-
ная... нет; невозможно.

Нет выхода.

Повеситься.

Да и к чему тут жить... Нет страха: в глазах черно.

Родители... но сил нет.

Но ребенок... Их ребенок... любовь их, плоть их, малень-
кий... ему бы остаться на земле; ему бы жить.

Ах, должен он жить: смысл единственный, да чего же сто-
ит остальное, в конце концов.

И – долг перед любимым: есть долг перед любимым; что
тут от подлинного ощущения его и осознания идет, что на-
думанно, на что инстинкт жизни подталкивает исподволь –
кто разберет, разграничит.

Бросить институт, уехать, устроиться на работу, родить...
Куда? Как? На какие деньги?..

Девочка только из-под родительского крыла... Едва в на-

чале – жизнь рухнула. Растить сироту... Одной. Одной.

...Так и возникает дикое для первого восприятия собственных чувств, и укрепляется во спасение: выйти замуж. Избежать позора, ребенок в семье, устроение всего... Обыкновенное, по сути, решение. Да рассуждать легко...

За кого?.. Ох, не все ли равно! То есть говорится только – не все ли равно, хотя в таком состоянии верно может быть не только все равно, но даже чем хуже, тем лучше: горе по горло – так пусть все под откос, и в мученичестве удовлетворения ищешь. Но каждый выбор понуждает к последующему: решил жить – решай как, далее – конкретней...

Мысль о друге Брянцева была естественной. Он оставался частью его мира, и через это представлялся не совсем чужим.

Стать женой друга – меньший ли грех перед любимым, ближе к нему ведь; или больший – ведь к другу ревновал бы больней...

И попросту: сдержанный, одинокий, не красавец, не юнец... он подходил...

...Ну, трудно ли молодой симпатичной девушке завлечь и женить на себе заучившегося обычного мужика, не избалованного женщинами и их, в общем, не знающего. Главное – каких мук, какого напряжения ей стоило играть эту влюбленность в него, внутри мертвея от отчаяния и тоски. Сколько же сил душевных понадобилось! И откуда берутся у таких девчонок, – а ведь у них именно и берутся.

И – торопиться приходилось, быстро делать, быстро! Бе-

ременность шла; не приведи бог заподозрит, догадается.

Тоже сердце рвет: знать ребенку, кто отец его, любимый, не доживший! или пусть во всем счастливый живет, при живом отце... Любя по-настоящему, им счастья желая, как бы и сам Брянцев рассудил...

Другое: открой, что беременна – разбежался он чужую заботу покрывать. С чем подойти, «женись как друг»?.. Слово вылетит: скоро молва... И женится – где зарок, что не прекнет в тяжелый час, не будет собственную душу грызть и на тебе срываться... Все люди.

Нет, по всему выходило скрывать.

Не девушкой – что ж... дело такое. Ничего. А остальное – он, тихоня, до нее, может, и вообще мужчиной-то не был. Может, и не снилась ему такая.

Совершились ее намерения наилучшим образом. За нос такого провести нетрудно: приласкай – и верти им, любому слову поверит.

Она стала хорошей женой. Лучшей желать нельзя.

Потому и угождала, что дорожила положением своим?

Какую твердость, какую волю надо иметь, чтоб с такой тайной жизнь прожить. Не выдать себя, не обмолвиться.

Нет; всю жизнь не пропритворяешься. Привычка. Роль становится натурой: бывшее так отойдет, и не поймешь: приснилось ли... Привязалась постепенно; были и радости, и счастье, и всякое; жизнь была.

Он оказался хорошим человеком, хорошим мужем: она не

ошиблась.

Брак обошелся ей в жестокую цену; она стремилась к нему более всего на свете; та боль скрепляла его.

А вынужденность его не могла хоть сколько-то не тяготить.

Но был еще единственный ребенок и его счастье.

5

– Женщины... смейся и плачь. Вообрази: он все знал. Знал он!

И отдавал отчет в жути ее положения.

Что он должен был делать? Оставаться безучастным? Поддержать, утешить, – чем мог? не те дела: как поможешь...

Аборт ей сделать на себя взять? Криминал, риск, судьбу на карту... а вдруг неудача, последствия, дознаются...

Она пошла бы ли еще на это. Восемнадцать лет, все в первый раз, жгучая гордость, трепет перед оглаской... понимал: ей и на признание не решиться.

Она здорово держалась! Как понять: самообладание? Или, очень вероятно, то запредельное состояние изнеможения, когда махнешь на все: «Будь что будет», опущены руки, неси течение к неминуемой развязке, истрачены вера и воля, и существу враждебны мучительные усилия к спасению, противоречащему всеподчинившейся логике событий: блаженный наркоз засыпающего на морозе. Опасно затрагивать че-

ловека в подобном пассивном смирении с пока неопределенно отодвинутой гибелью. Его оцепенение чувств – неверное равновесие подтаивающей лавины. Легчайшее прикосновение извне может послужить к катастрофе. Как отточить интуицию до ювелирной чуткости... Оскорбишь своим знанием: а она головой отрицательно замотает в ужасе – и после покончит с собой. И все благие намерения.

И тут она явно ищет с ним сближения. Встреча, вторая. Взгляды, интонации, позы, весь этот женский бедный арсенал...

Он не дурак был, трезвая голова, на свой счет не обольщался. Все понял. Понял, и согласился про себя, что для нее это выход и спасение. Так... Это максимум и одновременно едва ли не единственное, чем может он реально ей помочь.

Тут надо немало души. У него достало.

...Он не показал ей, что знает: ни тогда, ни позже. Зачем. Истинное благородство – выше показа.

Вообще собственное благородство вдохновляет к идеализации мотивов. Ну: на одной чаше весов – возможно, жизнь невесты друга и их ребенка; на другой – что, собственно? одиночество – не постыло ли... развестись всегда можно; алименты? ерунда... Чужой ребенок? никто не знает, зато знает он: самолюбие спокойно – уже полдела.

Вначале скрыл – щадя ее и боясь оттолкнуть. Жертвы она могла не принять. Приняв – тяготилась бы обязанностью,

благодарность по долгу – рождает подсознательную жажду раскрепощения, неприязнь.

А позже – обнаружили свои прелести и преимущества. Как жена полностью устраивала. Семья – куда лучше. Дочка славная растет; а больше детей-то не было, может у него своих и не могло быть. Признайся – простит ли унижение, не потеряешь ли ребенка, которого привык считать своим и любишь, к чему все приведет... Нет, если устраивающее тебя положение стабилизировано – не следует нарушать его чем бы то ни было.

Не покинет краешком и лестная надежда, что и сам не так плох – почему самого и вправду полюбить нельзя; хоть разуму известно – да слова, да чувства, да ночи, да тщеславие мужское неистребимое...

Вдобавок тайное знание вселяет силу и власть. Хранишь последним оружием: в таких соображениях и лучший не волен, пусть даже совесть не позволит и в крайнем случае использовать. Отсюда – дополнительная выдержка, снисходительное достоинство вооруженного к слабому.

Разнообразны благие намерения, по которым мы скрываем от близких знания о них. Тактичность, жалость, любовь, расчет, великодушие и душевный комфорт... Разве всегда один супруг жаждет знать все о другом? А зная – жаждет выложить? Или зная, что другой знает нечто о нем – жаждет услышать? Несказанное – неузаконено к существованию, отчасти и не существует. Мало ли некасаемых семейных мин

тикают механизмами к забвению.

6

– Фьюить-тю!.. Не укладывается в толк. Ну... ё-моё! Чего я сейчас не могу понять – почему раньше это никому не пришло в голову. «Кому это выгодно?» Но кто б, непосвященный, свел воедино...

Конечно. Он любил ее.

Одному ему, другу, Брянцев поведал секретно: беременна, теперь жениться; в тот же вечер. А он, знакомый издали, он полюбил – да тут Брянцев рядом... все предпочтения, она влюбилась; не суйся. И Брянцев (не трепач отнюдь), эдакий симпатяга, живая душа, с ним и делился заветным: как целовались... как женщиной ее сделал. Та еще пыточка. Молчал: крепок был, да невольно поведением зависишь от сильного. Молчал – до обморочной ревности, стиснутые зубы немели, небось, воображение рвалось как киноплёнка на словах обнаженных, сокровенном полупшепоте, в темноте, под последнюю папироску, как это бывает.

Планы безумные перебирал. Надеялся еще на что-то? Женитьбой – на искорку ему дунуло. Конец. И одновременно: случись что с Брянцевым – каюк ей, беспомощность: шаткий момент, единственный шанс. Простая логика, и холодок от нее. Все продумал, все рассчитал, все учел. Семь раз отмерил...

И на следующий день как раз стипендия. С ребятами немного выпили в общежитии и пошли домой. Пришли, Брянцев говорит, посидев: пойду к ней схожу, не так поздно еще. (Она с подругой комнату снимала.) Он – пошли, говорит, вместе в гости. Пожалуйста. Случай подставляется: он сам предлогов искал вечером вдвоем прогуляться из дому; да тут еще снег сыплет. И специально пальто на вешалке в коридоре оставил, и шапку, только куртку и фуражку старую надел. Тепло, машет, закаляюсь. А март, и снежок.

Только вышли – погоди, говорит, папиросы забыл. Быстро вернулся, включил настольную лампу (окно на другую сторону, не видно, но верхний зажечь – по отсвету заметить можно), чтоб в коридор через щель дверную пробивалось, и комнату не замкнул, ключ изнутри оставил. Будто он дома – для хозяйки, предусматривая алиби.

И сунул в куртку, рука в кармане, припасенный обрезок стального стержня.

На улице сугробы, темно, пусто. И перед углом, где у высокого забора намело, тропка узкая в снегу, Брянцев первый шел – он его по темени и хряскнул. Тот оседать – еще раз! Шапку сорвал – и упавшего еще два раза, наверняка. Отвалил его к забору, снег ногой закидал, и стержень в снег. (Голой рукой не брал, без отпечатков, в газету завернул, и руки в перчатках). Ходом обратно. Газету скомкал – в уборную. Порошило – отряхнулся. Минуты три прошло, не дольше. Повстречается хозяйка или спросит – в уборную скажет вы-

скакивал.

При расследовании прошел чисто. Никаких причин, ссор, выгоды. Видел последний, подтвердил. Из дому не выходил. Хозяйка подтвердила. Никаких улик и подозрений. Нервами он будь-будь обладал. Да что и в лице – друг все-таки, некоторые переживания уместны.

...Сошелся его расчет. В точности и тоньше. Девка очутилась при гробовом интересе. А он норовил попадаться на глаза – хотя и остерегаясь. Пусть было ей уж куда не до дедуктивных выкладок – но ее-то и могла озарить истина, заврись он увлеченно. Кто б ей поверил, нет улик... все равно выдать себя недопустимо.

Предусмотренный вариант: знает от Брянцева, предлагает для выручки фиктивный брак. А там – тихой сапой обрабатывать. Семья, отец ребенку, опора, благодарность... Вероятно, получилось бы. Такие берут не мытьем, так катаньем.

Сложилось же для его желаний намного удачнее. Действительно, когда решаешься твердо любой ценой – судьба поворачивает навстречу.

Жестокое испытание обнаружилось, главная трудность. Любил – сильнее законов божеских и людских. Подушку грыз и плакал – двадцатичетырехлетний мужик, который в двадцать старшим лейтенантом был и на фронте ротой командовал. И – прикосновение первое, поцелуй первый, первая ночь. Сознание отрывается. От касаний ее плавился, от наготы слеп.

А волю любви дать не смей! Себя теряй – помни! Поймет – гибель!

Кара и истязание.

Превозмог.

(Ситуация: балансирование на проволоке. И так-то чужая любовь ей тяжка, и догадаться может, – и чтоб уверилась в покое за собственный обман.)

Месяцами; годами. Не скоро бросил беречься, раскрепостился: со временем, мол, полюбил так; и она уже привыкла...

Оттого и любил всю жизнь так сильно, что первый жар не изгорел, калился?..

Ладно в заботливости мог не сдерживаться – на характер, склонный к порядку, спишется: семья – значит заботиться надо.

Но вот сомнение: таким макаром себя давить, ломать, – что хочешь задавить можно. Уже не медовый месяц, не первый годок – столько напряжения по укоренившейся привычке постоянно, что и вправду незаметно для самого любви уже может не оказаться...

Но прожил. С любовью, и с тайной захороненной.

Все же кремень... Кремень.

По сути – изверг, чего там... Убийца, и не просто... Друга – накануне свадьбы. Девушку любил – своей рукой обездолил. Ребенка – осиротил.

Но это – любил!... Подумать – и жуть оказаться на ее ме-

сте... и не одна, наверное, замерла сладко, чтоб ее кто настолько любил...

7

– Нет у меня ощущения свершившейся катастрофы. Странно: естественность и закономерность. Пережил заранее?.. Только не раскаянье. (Глупцы каются. Человек всегда поступает единственно возможным именно для него во всей совокупности данных обстоятельств образом. Кается – из иного положения, и будучи сам иным, изменчив. Кающийся неадекватен совершающему поступок: свидетельство изменения; и свидетельство забывчивости и непонимания человеческой природы, в первую очередь собственной; если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой – сознаешь абсолютную неизбежность прошлого.)

С собой не хитрю. Даже сейчас – я горжусь тем, что сделал: хотел и смог! Самоутверждение?.. Тщеславие перед собой как зрителем?.. О боже – и наедине с собой, силясь быть честным – насколько трудно, если вообще возможно, отделаться от роли, которую играешь перед собой же! Несовпадение личности с идеалом?.. «Оно», «Я», «СверхЯ»... Что надумано? Что истинно? Как отделить одно от другого? и возможно ли?.. Мы формируем себя на основе импульсов, эмоций, которые в свою очередь зависят обратной связью от образа мыслей и убеждений, – где определить сердцевину ис-

тины, возделенную точку верного отсчета? И существует ли она?

По здравом размышлении я отвечал себе – нет. Нет. Лишь степени приближения к ней. Проще: до конца себя не познаешь, но можно достаточно глубоко.

Почему я не покончил с собой? Незачем. Взвешено, отмечено, отрезано... Подбита черта. Что под ней? Восемь лет заключения и потеря всего в жизни (да хоть бы и самой жизни) – нет, недорогая цена за женитьбу на единственно любимой женщине и четверть века счастливой жизни с ней. Счастье... соответствие всех условий жизни твоим истинным потребностям... Я жаждал – и получил. Единственное: так ли? Если был счастлив и потерял все – зачем остался жить?..

Вот такая штука – с каждым серьезным поступком меняешься ты, и меняется мир для тебя. Поэтому ты никогда не получаешь именно то, чего добивался. В самом лучшем случае – получаешь близкое (в собственном восприятии, разумеется, а не как нечто объективное). Но поскольку любовь, ценность духовная, субъективна, именно здесь цель менее всего оправдывает средства. Платишь дорого – можешь возненавидеть, или разочароваться добившись; платишь дешево – можешь охладеть... Добиваясь – перестаешь быть собой! Вплоть до парадоксального рассуждения: любить – желание обладания и одновременно желание ей счастья; но счастлив любящий; любовь редко взаимна – разлюби, пусть ломая себя, чтоб легче и вернее добиться любви, –

и исполнишь долг любящего: дашь ей счастье любви, причем овладеешь ею; да только, разлюбив, не пошлешь ли все к чертям за ненадобностью?.. Нет; задача не имеет решения.

Но если б только в этом было дело... Если б я мог сейчас с уверенностью сказать себе, что да, любил ее настолько, и отсюда все последующее...

Брянцев был блестящ. Умен, остер, обаятелен, красив. В молодости не понимаешь исключительности ближних. Для юнца знакомая красавица – просто симпатичная девчонка, гений-сосед – просто способный человек, герой – просто не трус. Наживая долгий опыт, сознаешь им цену. Им и себе.

Он был легок. Я никогда не был легок. Может ли быть тяжелый человек счастливым? Почему нет. Но обычно счастливы легкие. Два человека – жизнь их одинакова: один полагает себя счастливым, а второй – несчастным. Претензии мешают? Характер, характер!..

Он был счастлив. Удачлив. Меня воспринимали при нем, не самого по себе. При чем – он меня в такое положение не ставил. Отнюдь – великодушен был, добр; благороден, черт возьми. Да если всем наделен и никакая конкуренция не опасна – чего же не быть благородным. Все равно первый – да еще и благородный. Сильному просто быть добрым, его самолюбие лишь выигрывает. Он от этого еще больше на свету, а ты – в тени. А он и на тебя посветит – его не убудет.

И это – не заслуженно, не горбом, а – благодетельствован природой. Я занимался ночами – он слыл корифеем. Я был

умнее – он блистал. Я был глубже – он вешал лапшу на уши. И все его любили, – меня же принимали как его друга.

Мог ли я в глубине души не желать ему низведения с высот до надлежащего уровня – ниже моего: и чем ниже, тем лучше!.. Зависть? Зависть. Даже – я желал его гибели. Даже – ненавидел. Несправедливо, несправедливо! ему быть таким, а мне таким! Его дружба мне льстила: я ненавидел и за то, что воспринимаю лестным его благоволение: что же, я ниже его? Почему, за что?

Но – другу – вряд ли я много сильнее желал ему бед, чем любой – ближнему. Редко ли люди, сочувствуя словами и лицом, да и поступками, и переживая искренне – в глубине души испытывают удовлетворение от неудач и несчастий ближнего: тем удачливее и значительнее воспринимают они собственное существование. Инстинкт самоутверждения?.. (Отчего мелькают иногда противоестественные мысли об убийстве самых родных людей? Фрейдизм, мазохизм... убого сознание, глубоки его колодцы.)

Возможно, я просто низкий завистник. Элементарный подлец. Подлец с волей и крепкими нервами. И с фронта с умением убить человека деловито и без истерик. А убил бы я его, не будь на фронте? Трудно ответить. В жизни каждое лыко в строку.

Как искренне он делился своими успехами! Как подкупающе, заразительно полагал, что я тоже должен радоваться его радостям! Откуда этот животный эгоцентризм жизнерадост-

ных людей?

Мы познакомились одновременно, я полюбил – она уже влюбилась в него, конечно... я не подавал виду – я не имел шансов. Я любил – а он рассказывал мне, как продвигаются дела. И я поддакивал поощрительно!

Флюиды, говорят, флюиды... Чушь! Он бы умер на месте от одних моих флюидов – он здравствовал, и все шло ему в руки само. Он таскал девок – я любил один раз. Я становился как стеклянный от звука ее голоса – он с ней спал и передавал мне подробности. Я встречал ее в институте – доверчивая девочка, ясное сияние, – и представлял, что они делают вдвоем, и как делают, ее лицо и тело, и жил отдельно от себя, отмечая со стороны, что это я и я живу.

Да я бы сжег этот институт, весь этот город со всеми обитателями, чтоб ничего этого не было и она любила меня! Чего мне было бояться? Я воевал, я видел, сколько стоит человеческая жизнь. Жениться на любимой – что, меньше смысла чем взять высоту или держать рубеж?

Я рассчитал правильно. Гарантий не было – но я получал максимальные шансы. Я сделал все что мог.

Но дальше... Убийство из ревности – старо как мир. Смягчающее обстоятельство. Кто не стремится устранить соперника. Во многие времена подобное числилось в порядке вещей. Но если б и сейчас это было в порядке вещей...

Когда я убил его – как-то сместилась система ценностей. Я продолжал ненавидеть его – за то, что она все равно его

любила, все равно он был ее первым, все равно она, полурекбенок, моя любимая, была от него беременна. И – мне было его и ее жаль. И – я чувствовал себя и здесь униженным: он вынудил убить друга в затылок, а сам никогда не поступил бы так! но сам никогда не попал бы и в подобное положение, удачливый красавец! А попал бы? проиграл бы благоуханно... Но от чего в силах отказаться – того не хотел понастоящему.

Но вот что – я не торопился в том, ради чего убил, – и не мог объяснить себе причину этой неторопливости. Изменилось что-то, сдвинулось... Я наблюдал за ней – именно наблюдал; я знал один, каково ей, и следил с холодностью и удовлетворением естествоиспытателя, что она предпримет. Злорадство? Месть за оскорбленное чувство? Страх за свою шкуру, боязнь что она догадается? Торможение реакций в результате стресса?..

Так или иначе – женитьба на ней уже не представлялась мне обязательной! Более того – временами мне вовсе не хотелось жениться на этой девчонке, беременной от другого, не любящей меня и в общем не стоящей ни меня, ни всего, что я сделал! Еще более: мне представлялось, как славно, если бы они поженились с Брянцевым, и я бы пил на их свадьбе, и у них родился ребенок, и так далее.

Короче – я воспринимал ее как чужую. Не как возжеланную, ради обладания которой убил друга. На черта я все заварил, пытал я себя? Что за помрачение на меня сошло, что

за сумасшествие? Порой доходило до того, что я мысленно молил Брянцева и ее о прощении.

Неужели я настолько ненавидел Брянцева и завидовал, что не ее любил и ревновал к нему, а его ревновал к еще большому счастью, чем он и так имел? Я отвечал себе: не может этого быть! отвечал без уверенности...

Или – сладко лишь запретное? Удовлетворенное самолюбие успокаивается? Я и сейчас не могу толком разобраться... Однако – что-то сместилось во мне. Или в мире для меня. Или сам я сместился в мире. Что-то сместилось.

Я не допускаю, что перешел в иное качество лишь вследствие убийства. Я пробыл два года в пехоте на передовой – навидался смертей и убивал сам; опуская то уже, что я врач, а здесь и этот профессионализм играет роль.

Возможно, я отчасти ненавидел ее – виновницу убийства мною друга; подсознательно мучился сделанным – и настраивался против нее?..

В любом случае – прежняя любовь исчезла. Я пребывал в неожиданном для себя и диком состоянии; и в дикости обретал какое-то мазохистское удовлетворение.

И тут события приняли наилучший для меня оборот – наилучший для меня бывшего, и совершенно ненужный для меня нынешнего. Она решила все скрыть и выйти за меня замуж.

Я почувствовал себя полновластным хозяином положения. Но и в то же время почувствовал себя жертвой – жерт-

вой собственного воплощенного плана, который теперь диктовал мне мое прошлое, настоящее и будущее; я пытался противиться, бессильный. Теперь уже она вынуждала меня к действию. И неприязнь моя увеличивалась. Презрение! – предает память Брянцева, их любовь! пытается провести, обмануть меня! мелкая душа!..

Жалость, остатки внутренней привязанности, комплекс вины, просто физическое влечение – и отчуждение, брезгливость, злорадство, нежелание взваливать обузу, – я колебался. Себя я расценивал как отъявленного негодяя – не без известного удовольствия: но к ней относился свысока! Я переступил предел – происходящее словно отделилось стенкой аквариума. В редкие моменты эта стенка преодолевалась жалостью – когда отмечал подавляемое дрожание ее губ, удержанные на глазах слезы; но проходило быстро – я был трезв. (Или, если играть словами – напротив, пьян до остекленения?)

Я стал рассеян; это приписывали гибели Брянцева. Однажды, когда я, очнувшись, ответил невпопад, был вопрос: «Ты что? Влюбился, что ли?» Сжавшись от укола, я механически отыграл: «Да». Пустяк – но я не мог отделаться от впечатления, что это явилось той точечкой, которая все завершила; перевесившей каплей...

Нет; главное – я знал, что такое настоящая усталость: она ложится на нервы, и делаешься безразличным к самому-рас-самому желанному. Надо пересилить себя – и выполнять на-

меченное. Это как второе дыхание. Желания возвращаются вместе с отдыхом и приведением к норме нервов из перенапряжения. Отказаться в состоянии изнеможения от разрешенного (изнеможение еще надо уметь определить, обычно самому оно представляется успокоением и трезвостью), когда чувства и разум услужливо доказывают нерациональность дальнейшей борьбы и никчемность результатов – это, собственно, и есть малодушие. Умение достигать – скорее не умение добиваться желаемого, а умение заставлять себя добиваться представляющегося ненужным, но задуманного когда-то; а иначе серьезные дела и не делаются.

Начавши кончай. Иначе для меня все теряло смысл. Это был долг перед собой уже. Больше: это было как заполнение пустого места, причем приготовленного, специально освобожденного, так сказать, места в собственной сущности. Трудно выразить, сформулировать – но так требовалось самим моим существованием.

Фактически я руководствовался чисто рассудочными доводами. Явился вывод и убеждение: я должен поступить так.

Я женился на ней.

Я женился на ней – ну, так обрел ли я желаемое?.. Еще и потому на работе за все хватался: меня никогда не тянуло домой. «Жил работой!..» На работе я был сам собой, и вроде действительно неплохой хирург, и вот это терять действительно жаль: здесь все ясно, просто и по-человечески.

Дома... Забота, внимание... Если б она меня любила!..

все бы могло быть иначе... Но она тоже скрывала – свое. Она любила его. А в чем-то – ты победитель, Брянцев, чтоб ты сгорел, и чтоб я сгорел, и ничего тут не поделаешь. Здесь ты сильнее. Высшая справедливость?..

Но если б она меня любила... Тогда бы, быть может, и я мог бы ее полюбить... Трудная порода – однолюбы... Она – тебя. Я – ее, ту, до всего. Оба, как говорится, сразу выложили все отпущенные нам на жизнь запасы любви.

Я хотел любить ее. Да понимал, ощущал, что стоит за ее безупречным поведением. Мы обрекли себя оба, и каждый тайно от другого, не признавать льда между нами – двойной преграды, а растопить ее можно только с двух сторон. Вот – примерная семейная жизнь. Что не жить? любви ни к кому, друг другу подходим, накрепко повязаны, – и маска делается лицом... если бы! И лицо-то забылось, да не все в душе на заказ переделаешь. Можешь торжествовать из могилы, Брянцев – она тебе верна, она тебя любит, я проиграл... чего еще?

Но как глупо и невероятно вышел конец. Как глупо!.. буквально чудится какая-то непреложность, но ведь ерунда это все, я не мистик, не неврастеник, не верю в рок... глупо... Ты достал меня...

В вашу первую ночь она подарила тебе колечко – серебряное недорогое колечко. Ты показал его мне. Ты носил его в часовом кармашке.

Тем вечером я помнил о нем. Не следовало, чтоб его на–

шли на тебе – могли запросто докопаться до нее, – я его вытащил. Кинуть в снег? Скоро стает, вдруг найдут, – чепуха!! – но... В уборную? Зима, все замерзло, будет лежать, а если кто приметит... черт его знает... В щель пола сунуть? в комнате не было щелей, ковырять – еще обратят внимание на свежую. И, глупость, психопатия, но – слеп, безумен, любил тогда, – где-то и сохранить хотелось. Так, говорят, и сыплются на мелочах. Не предусмотрел я заранее, значения не придавал – а после уж в мандраже был некотором, естественно, да и домой поживее вернуться требовалось. Отжал я ножом стальной уголок своего чемодана, забил его туда, и бумажки вслед забил, и некуда было ему деваться, никаких случайностей, а специально – в голову никому не придет.

...Дочку я любил, очень. Она очень похожа на мать... Она ничего не скрывала. Ничего не знала. Она любила меня. И я – единственную ее любил. Кого мне еще было любить. Наверно, любил в ней и ее мать, которую любить не мог... Не любил ли я и тебя в ней, Брянцев?.. Не любил ли и свою жертву? разве не любят жертв... какой-то извращенной, но сильной любовью...

Она вошла в комнату, и я увидел на ее руке это колечко. Под моим взглядом она невольно отдернула руку. Потом растерянно показала:

«Колечко...»

Я обернулся: глаза жены расширились: ужас истины пустил стремительный росток.

Потемнение опустилось на меня.

Как будто это она – нашла свое колечко, и теперь ее ничего здесь не держит, все было заблуждением, опечаткой, сном, она опять молода и сейчас уйдет, все поправила. Я взглянул на жену, постаревшую, словно прошедшие годы и грехи разом прочитались на ее лице, и понял, что эта моя жизнь – ошибка, я не на той женился, а надо жениться на дочери. И логически подумал, что могу это сделать, так как она мне, во-первых, не дочь, а во-вторых, меня любит. А следом подумал, что раз она нашла колечко, то теперь она уже не выйдет за меня замуж, и я теряю ее навсегда. И значит все, что я делал, было напрасно, и вся жизнь была напрасна... Очевидно, выражение моего лица вызвало у жены крик, и этот крик превратил догадку и озарение в свершившийся факт.

И все сразу, вдруг, стало до жути и абсолютно ясно.

Дочь ничего не понимала. Она стояла – уже вне моей жизни. «Уйди!» – кощунственно закричал я, и она отступила испуганно, она а не жена! повернулась и быстро вышла. Я ждал в отчаянии, что она подойдет вопреки сказанному и обнимет меня, и все будет хорошо, но она всердцах, хлопнув, закрыла дверь, и я увидел в окно, как она вышла из подъезда и прошла по дорожке мимо кустов, и идет к углу, и когда она свернула за угол я понял, что все кончено.

Ощущение... прибегая к сравнениям – будто поезд пошел не по той стрелке, а все осталось там, на развилке. Я люблю дочь?... иначе чем раньше... не совсем как дочь... уж очень

сильно похожа. Из жены же – теперь вынута для меня и та немногая суть, которая была. Смысла не осталось.

8

– «Хватило мужества... Жив человек в нем...» Походит даже на истину – мог ведь избежать, наверное... Жена догадалась? Э, выкрутился бы: нервы, устал, то-се... мало ли чего наплести можно, разуверить человека в том, чего он и сам не желает: мало ли безумных ложных откровений подчас в мозгу выстреливает.

Нет же – попер в милицию! Совесть заела? душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить? вот уж вряд ли... не тот человек!

Рассудить: чего добился? Жене – за что еще такое страдание, мало ли намучилась в жизни – от него же. Дочь – уж ни в чем не виновата, ради нее хоть прежнее сохранить стоило. Больница, область лишилась хорошего хирурга, еще не одну жизнь спас бы, много добра принес. А вера в людей, наконец? эдак каждого черт-те в чем подозревать начнешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.